

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

ГЕНЕРАЛИССИМУС
СУВОРОВ

Николай Гейнце
Генералиссимус Суворов

«Public Domain»

1896

Гейнце Н. Э.

Генералиссимус Суворов / Н. Э. Гейнце — «Public Domain»,
1896

«Он спит?— Странно, с полчаса тому назад он говорил со мной и пошел в кабинет, чтобы принести мне и показать отделанный в рамку портрет на кости, который я ему подарила...— Значит, он пошел и заснул... Впрочем, это отчасти хорошо. Он сегодня снова утром страдал припадками мигрени... На него было жалко смотреть, и когда мне сказали, что ты приехала, я порадовалась за него, я подумала, что это развлечет его и успокоит его страдания...»

Содержание

Часть первая. молодость орла	5
I. Над трупом	5
II. Поверенный	9
III. В доме князя Прозоровского	13
IV. Донской монастырь	16
V. В Польше	20
VI. На Висле	23
VII. Детство Суворова	27
VIII. Дикарь	31
IX. Питомец Петра Великого	35
X. Суворов-солдат	39
XI. Петербург елизаветинского времени	43
XII. На новоселье	46
XIII. Первые впечатления	50
XIV. Прелестница	54
XV. Петергоф	58
XVI. Императрица Елизавета	62
XVII. Царский подарок	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Николай Гейнце

Генералиссимус Суворов

Часть первая. молодость орла

І. Над трупом

Он спит?

– Странно, с полчаса тому назад он говорил со мной и пошел в кабинет, чтобы принести мне и показать отделанный в рамку портрет на кости, который я ему подарила...

– Значит, он пошел и заснул... Впрочем, это отчасти хорошо. Он сегодня снова утром страдал припадками мигрени... На него было жалко смотреть, и когда мне сказали, что ты приехала, я порадовалась за него, я подумала, что это развлечет его и успокоит его страдания...

– Но где ты была?

– Мне надо было сделать несколько распоряжений по хозяйству... Несносная Гавриловна только и знает, что говорить: «Как вы прикажете, ваше сиятельство», а когда «мое сиятельство» приказывает, то она все-таки делает по-своему... А ты давно?..

– Я приехала уже около часу... Мадемуазель Лагранж, узнав, что ты у себя, впустила меня в подъезд, а сама поехала по своим делам, обещав заехать за мной через два часа... Как он, однако, крепко спит... Мы говорим с тобой довольно громко...

– Тем лучше, у него пройдет головная боль, и он через полчаса, много час, встанет свежий и бодрый... Приедет Эрнестина Ивановна, и мы все вчетвером поедем кататься... Пойдем ко мне... Пусть спит...

– Но мне почему-то делается страшно при виде его... И потом, посмотри, что-то лежит на ковре около дивана...

Так разговаривая, стояли в открытых дверях роскошно убранного кабинета две молодые девушки.

Одна из них, хозяйка дома, княжна Александра Яковлевна Баратова, была сильная брюнетка, со смуглым лицом и ярким румянцем на покрытых пушком щеках; орлиный нос, несколько загнутый книзу, придавал ее лицу почти строгое выражение, а тонкие линии у углов полных, чувственных ярко-красных губ красноречиво говорили о твердом характере. Над верхней губой сильно пробивались усики, а нижняя была несколько выдвинута вперед, производя впечатление надменности и недовольства окружающими.

Большие темно-карие глаза, всегда полузакрытые веками с длинными, густыми ресницами, были прелестны, но никто не мог уловить их выражения, и если они, согласно пословице, были зеркалом души княжны Александры Баратовой, то в этом зеркале нельзя было рассмотреть этой души.

Княжна была роста немного выше среднего. Бюст умеренной полноты и вся ее фигура, соразмерная в своих частях, давала бы ей право назваться грациозной, если бы не было одного недостатка, который не мог быть скрыт даже лучшей московской портнихой, – княжна была кривобока.

Ей, как она сама говорила и как с ней любезно соглашались, шел двадцать третий год. Московские остряки уверяли, что этому нельзя не верить, так как княжна уже несколько лет, как всех в этом уверяет.

Другая гостя была княжна Варвара Ивановна Прозоровская. Стройная шатенка, с тонкими чертами лица и с тем наивным испуганно-недоумевающим взглядом голубых глаз, кото-

рый так нравится в женщинах пожившим людям. Маленький ротик и родимое пятнышко на нижней части правой щеки были ее, выражаясь языком паспортов, особыми приметам. Княжне Прозоровской шел двадцатый год, что не подлежало сомнению и никем не оспаривалось.

Обе девушки были одеты по тогдашней последней моде, с тем богатством и роскошью, которые не бьют в глаза и служат признаком настоящего аристократизма. Княжна Баратова была одета несколько проще, в домашнее платье.

Описанная нами сцена происходила 8 декабря 1772 года.

– Что такое ты там видишь на ковре? – спросила княжна Александра Яковлевна, шурясь своими близорукими глазами.

– Видишь, что-то голубое... Подойдем.

Молодые девушки на цыпочках приблизились к спавшему на диване князю Владимиру Яковлевичу Баратову.

Князь, похожий на сестру, был красавец в полном смысле этого слова, но на его матово бледном лице бурно прожитая ранняя юность положила свой отпечаток. В момент нашего рассказа ему было тридцать шесть лет. Рано лишившись отца и матери, он, по выходе из шляхетского корпуса, недолго прослужил в Петербурге в одном из гвардейских полков, вышел в отставку и уехал за границу, где при самой широкой жизни не мог не только истратить колоссального, доставшегося ему от родителей состояния, но не в силах был тратить всего годового дохода. По этому одному можно было судить о колоссальном его богатстве. Здоровье, впрочем, хотя и отпущено ему тоже довольно щедро природой, – было растрчено.

Вернувшись из-за границы, князь поселился в своем великолепном доме на Тверской улице, куда для совместной с ним жизни приехала и окончившая курс в Смольном институте в Петербурге его сестра Александра Яковлевна, или, как он ее называл, Alexandrine. У последней было отделенное по завещанию отцом и матерью приданое, состоящее из капиталов и имений в разных губерниях и в общей сложности превышающее миллион.

Понятно, что князь и княжна были кумиром московских гостиных, как более чем заманчивые жених и невеста. Первого спали и видели маменьки и дочки, а за второй вился постоянно целый хвост претендентов и старых, и молодых, и военных, и штатских.

Брат и сестра, видимо, однако, не спешили оправдать возложенных на них надежд. Погоня за их особами и капиталами пока что оставалась безрезультатной.

Князь Владимир Яковлевич, с самой ранней юности избалованный женщинами, пресыщенный ими в Петербурге и за границей, не спешил выбирать себе подругу жизни, не заботился о продолжении доблестного и древнего рода князей Баратовых, спокойно живя с сестрой, окруженный множеством крепостных слуг, на обязанности которых было вести дом так, как было «при стариках», за чем главным образом наблюдала ключница Гавриловна.

Княжна Александра Яковлевна тоже оказалась из «разборчивых невест», разборчивее даже свыше тех прав, которые, по мнению большого московского света, давало ей ее громадное состояние.

– Убогая, а туда же, разбирает... – говорили отвергнутые претенденты, намекая этим на несколько искривленный стан богатой невесты.

Они не смогли додуматься, что именно это «убожество» красавицы княжны заставляло ее быть на самом деле чрезвычайно разборчивой. Убожество это произошло с княжной в младенчестве, когда она была окружена множеством нянек и мамок, одна из которых, заговорившись с другой, уронила ребенка, всецело оправдав пословицу, что «у семи нянек дитя без глазу», что и причиняло молодой девушке много нравственных страданий.

Вся эта толпа поклонников, казалось ей, гонится только за ее миллионами, а потому она, предубежденная против них, не хотела даже ни к одному из них близко присмотреться. Ее съедало дьявольское самолюбие, ей хотелось властвовать над людьми, над своим состоянием,

своей личностью, красотой, умом, и само это состояние, вступавшее в соперничество с ней, было ей противным. Оно, казалось ей, кроме того, крайне ничтожным.

С летами душевное состояние княжны еще более обострялось.

Невнимание к окружающим ее поклонникам сменилось какой-то глухой ненавистью ко всем мужчинам, не исключая и ее родного брата.

Таким образом, княжна Баратова массой злобствующих поклонников была зачислена в старые девы. Сама княжна, конечно, этого не признавала, упорно не желая считать свои лета далее двадцати двух.

Князь Владимир Яковлевич сдался скорее сестры и в момент нашего рассказа был уже объявлен женихом княжны Варвары Ивановны Прозоровской, увлекшей его детски-наивным выражением своего милостивого личика. Красавец князь произвел на молодую девушку впечатление, а его богатство вскружило ей голову. Сама княжна сравнительно с миллионером женихом была бесприданница. Они уже были обручены, и свадьба была назначена в январе.

– Это и есть мой портрет!.. – вскрикнула княжна Варвара Ивановна, поднимая с полу замеченный ею голубой предмет. – Он бросил его на пол...

Краска негодования залила ее лицо. В руке она действительно держала свой портрет, вделанный в футляр голубого бархата с золотыми застежками и украшениями в виде инициалов ее имени и короны.

– Тише... тише... что ты кричишь!.. Ты разбудишь его...

– И пусть... Пусть он встанет и объяснит мне, как он смел бросать на пол мой портрет?.. – топнула ногой княжна Прозоровская.

Княжна Баратова не отвечала. Она широко раскрытыми глазами смотрела на лежавшего брата и только после довольно продолжительного молчания сказала:

– Постой... Как он, однако, крепко и странно спит... Уж спит ли он?..

– Что ты хочешь этим сказать? – вздрогнула княжна Варвара Ивановна.

Княжна Александра Яковлевна между тем подошла к дивану и положила свою руку на голову брата. Она тотчас же отняла эту руку, ощутив под ней могильный холод.

– Он умер!.. – успела она вскрикнуть и как подкошенная упала около дивана.

– Умер!.. – вне себя вскрикнула княжна Прозоровская и тоже как сноп упала на ковер, выронив из рук портрет.

В кабинете все стихло. В нем, казалось, лежало вместо одного три трупа.

Первая пришла в себя Александра Яковлевна. Она приподнялась, встала и обвела глазами кабинет, лежавшего на диване брата и на полу его бесчувственную невесту. Нечто вроде злорадной усмешки промелькнуло на ее губах. Несколько минут она стояла посреди кабинета, как бы соображая. Затем она вдруг вскрикнула почти диким голосом и снова упала на пол.

Этот крик был услышан слугами, которые и явились в кабинет его сиятельства. Их удивленным глазам представилась странная картина: лежавшего на диване князя и валявшихся на полу двух барышень. Позванные горничные унесли бесчувственных княжон в апартаменты княжны Александры, где молодых девушек стали приводить в чувство. Княжна Александра Яковлевна пришла в себя первая.

– Брат умер... умер?.. – был первый ее вопрос.

– Скончались... – почтительно отвечала Дуняша, специально ходившая за княжной, и быстрым, испытующим взглядом окинула свою госпожу.

Княжна потупилась и не сказала более ни слова.

Обморок с княжной Варварой Ивановной был более продолжителен. Только после невероятных усилий, прыскания холодной воды, натирания висков спиртом она очнулась и открыла глаза.

– Неужели он умер?.. – прошептала она.

Ей не отвечали ничего.

В комнату в то время вошла бывшая гувернантка княжны, ставшая ей компаньонкой, Эрнестина Ивановна Лагранж.

Это была обрусевшая француженка, вернее, швейцарка, чистенькая старушка, с молодыми, блестящими глазами и быстрыми манерами. Она уже знала о происшедшем несчастье в доме Барановых.

Увидев ее, княжна, уже сидевшая в кресле, вскочила, бросилась к ней на шею и зарыдала.

– *Quel malheur! Quel malheur!..*¹ – шептала она.

– *Pleurez, ma petite, pleurez... C'est le mieux, que vous puissiez faire dans ces circonstances*², – сказала француженка.

Она бережно усадила рыдавшую княжну снова в кресло и дала ей выплакаться. Слезы облегчили молодую девушку, и через несколько времени Эрнестина Ивановна могла с помощью двух горничных одеть ее, вывести из подъезда, посадить в карету и увезти домой. Овдовевшая так неожиданно невеста всю дорогу тихо плакала.

– А я еще рассердилась на него, что он бросил на пол мой портрет... А он выронил его из рук перед смертью... – рассказывала она Эрнестине Ивановне все, что произошло в кабинете покойного князя.

Старушка сочувственно качала головой.

– Но зачем же было входить в кабинет, когда мужчина спит?... – не удержалась она, чтобы не сделать замечания.

Княжна удивленно вскинула на нее глаза.

– Но ведь он был мертвый... – прошептала она, как бы извиняясь.

Старушка не нашлась сразу, что ответить, но затем сказала:

– *C'est egal...* Все равно... – даже перевела она на русский язык, который, кстати сказать, она знала хорошо, хотя и говорила с сильным акцентом.

И княжна, и компаньонка, поняли, вероятно, что вследствие пережитого ими обеими волнения они могут договориться до полного абсурда. Княжна продолжала тихо плакать.

¹ Какое несчастье! Какое несчастье!..

² Плачьте, моя крошка, плачьте... Это лучшее, что вы можете делать при таких обстоятельствах.

II. Поверенный

Еще до отъезда из дома княжны Варвары Ивановны Прозоровской роскошные залы, гостиные и кабинет покойного наполнились множеством народа, любопытными слугами как из княжеского дома, там и домов почти всего околотка.

Оправившаяся от обморока княжна Александра Яковлевна распорядилась послать за докторами. Их прибыло трое. Явилась и полиция, тотчас освободившая апартаменты его сиятельства от непрошенных и несоответствующих им посетителей.

Доктора констатировали смерть и ввиду того, что труп начал уже коченеть, не прибегли даже к мерам оживления. Домашний доктор князя Владимира Яковлевича на вопрос местного частного пристава о причинах такой внезапной смерти промычал в ответ что-то чрезвычайно неопределенное, а на просьбу княжны, сестры покойного, выдать свидетельство о смерти, несмотря на то, что ощутил в своей руке пачку крупных ассигнаций, только замахал руками, разжав из них даже ту, в которую он взял деньги. Ассигнации упали на пол. Доктор ушел.

Частный пристав с галантностью военного человека поднял ассигнации, быть может желая возвратить их хозяйке. Но княжна в то время быстро пошла к выходу. Полицейский чиновник несколько времени подержал ассигнации в руках, следя глазами за удаляющейся Александрой Яковлевной, затем вдруг, как бы спохватившись, быстро сунул их в карман.

Сцена эта происходила в зале, уже освобожденной от народа, когда остальные доктора, получив в свою очередь за визит, уехали, а Карл Богданович Отт – так звали домашнего доктора князя – задержался в беседе с княжной.

В кабинете раздели покойного и готовились обмывать его, а в гостиной письмоводитель пристава писал протокол осмотра трупа внезапно скончавшегося князя Владимира Яковлевича Баратова. По какой-то чисто полицейской чуткости частный пристав вошел в залу именно в тот момент, когда Карл Богданович, замахав руками, выронил деньги.

Слух о внезапной смерти Баратова облетел всю Москву с быстротою срочной эстафеты. Известие это варьировалось на разные лады и приобрело в конце концов фантастическую окраску: толковали о преступлении, отраве, мести, ревности, словом, в устах московских кумушек сложился целый роман.

Ввиду этих настойчивых слухов, а главное – отказа домашнего врача князя выдать свидетельство о смерти, на чем главным образом были и основаны толки о неестественной смерти жениха княжны Прозоровской, тело Владимира Яковлевича было вскрыто, как бы для балъзамирования, которое было на самом деле произведено. По вскрытии оказалось, что смерть последовала от паралича сердца. Этот результат успокоил встревоженное начальство, боявшееся, чтобы московские слухи не достигли до Петербурга, но не накинул платок на роток московских сплетниц, исторически известных всему цивилизованному и даже, вероятно, нецивилизованному миру. Легенда о смерти князя Баратова продолжала гулять по Москве, став, впрочем, достоянием ее окраин. Московский большой свет позабыл о ней под наплывом новых новостей, новых сплетен.

Похороны молодого князя Владимира Яковлевича Баратова, получившие, вследствие его смерти чуть ли не накануне свадьбы, романтический оттенок, были чрезвычайно многолюдны. Весь петербургский бомонд был налицо и частью пешком, а частью в самых разнообразных экипажах проводил гроб покойного из его дома в церковь Донского монастыря, на кладбище которого, в фамильном склепе князей Баратовых, нашел вечное успокоение последний из их рода по мужской линии.

Горе сестры и невесты покойного было неописуемо. Их несколько раз выносили из церкви в обмороке. Последний обморок с молодыми девушками произошел в момент опуше-

ния гроба в могилу. Великолепный поминальный обед в доме безвременного угасшего князя завершил печальную церемонию.

По истечении девятого дня со дня смерти князя Владимира Яковлевича к его сестре стали делать так называемые «визиты соболезнования». Княжна Александра Яковлевна принимала выражения сочувствия с видом холодной грусти, без тени смущения, с величайшей «корректностью», выражаясь любимым словом московских великосветских гостиных того времени.

Единственно, что было подмечено зоркими соглядатаями, – это появление в доме княжны Баратовой, в качестве своего человека, графа Станислава Владиславовича Довудского, принятого в лучшем тогдашнем московском обществе и то появлявшегося в великосветских гостиных Белокаменной, то исчезавшего из них на неопределенное время.

Откуда он появлялся и куда исчезал – никому не было известно, да никто об этом и не допытывался. Присутствие в гостиной княжны графа в качестве услужливого кавалера ничуть, кстати сказать, не показалось странным, несмотря на репутацию завзятого ловеласа, которой пользовался граф Довудский, сорокалетний красавец, неизвестно на какие средства, но всегда широко живший в столице.

Польская колония в Москве была в то время довольно значительна. Представителей ее мы не будем называть, так как и в самой Польше, и всюду, где появляются ее сыны и дочери, роль представительниц выпадает на долю последних. Среди московских, принятых в великосветском кругу, полек выдавались две.

Одна из них была вдовствующая княгиня Елена Станиславовна Велепольская, урожденная графиня Потоцкая, полная, почти толстая, высокого роста женщина, лет шестидесяти, с резкими, правильными чертами когда-то чрезвычайно красивого лица, величественной осанкой и надменным лицом. Она была тщеславна до глупости. Две знатные фамилии, к которым она принадлежала, были в родстве с Чарторыйскими и Радзивиллами, которые, как известно, породнились с домами Прусским и Виртембергским; она была в отдаленном свойстве с Понятовским, который сидел на польском троне. Все это вскружило голову ее покойному мужу. Он возмечтал, что он сам король, и промотал все свое состояние на милостях к своим подданным. Этой манией величия заразилась и его супруга.

Когда и каким образом она появилась в Москве, в точности неизвестно, но жила в обширном и ветхом доме на Сивцевом Вражке, куда из последнего проданного польского поместья успела спасти портреты своих родственников, императоров и королей и сидела, окруженная ими; дворню свою называла двором, имела несколько модных фрейлин, панов-служанцев, а из мелкой дробной шляхты ей нетрудно было набрать маршалков и шталмейстеров.

Оригинальность другой старухи польки была иного рода. Графиня Казимира Сигизмундовна Олизар знатностью происхождения могла поспорить с княгиней Велепольской. В молодости, как говорят, она была одной из красивейших женщин Польши, славившейся и тогда своими красавицами. В описываемое нами время ей казалось более семидесяти лет. Ее наружность трудно поддается описанию. Это был увенчанный розами высохший труп, в котором, однако, заметны были еще признаки жизни. Сухощавая, сгорбленная, вся дрожащая старушка, одетая как шестнадцатилетняя девочка, предмет участия, сострадания и смеха. Румяна и белила с нее сыпались. Она была мрачна и угрюма, и ее глубоко ушедшие в орбиты черные глаза горели каким-то зловещим, адским огнем. Любовь оспаривала ее у смерти, но торжество последней казалось близким. Любопытно было видеть эту сухую, как щепку, графиню подле толстой княгини Велепольской. Обе с удовольствием говорили о любви, но для второй она была только веселым воспоминанием, а для первой – вседневным делом, насущной потребностью. И не удивительно: у одной было тощее тело, у другой тощий карман. Три или четыре поляка, записные обожатели графини Олизар без стыда и ревности, всюду ее сопровождали. Московские франты того времени, далеко не гнушавшиеся должностью «альфонсов», в данном случае уступали в храбрости полякам; ни один из них не дерзнул вступить в свиту графини.

Во главе поклонников последней стоял граф Станислав Владиславович Довудский. Он был любимцем пылкой развалины, не жалевшей для него громадного состояния ее покойного мужа. Таков был источник доходов богатого и тароватого графа.

Болезнь графини Олизар, приковавшая ее к постели, заставила сообразительного графа переменить диверсию и записаться страстным поклонником княжны Александры Яковлевны Баратовой. Он давно наметил эту жертву, указанную ему его сообщниками, но зоркий глаз старой ревнивицы держал его в почтительном отдалении от княжны.

Побаивался он и покойного князя Владимира Яковлевича, а главное – не хотел менять верный доход от своего чувства к графине на гадательную ренту от ухаживания за княжной. Смерть князя и болезнь графини придали ему бодрости.

Он знал, что не забыт старухой в ее завещании, и ежедневно час или два проводил около больной, но при всем этом он соображал, что ей надо найти преемницу. Такой преемницей, и самой подходящей, по мнению графа, была княжна Баратова. Он втерся в ее доверие под видом помощи в устройстве дел ее покойного брата.

Подозрительная княжна приняла сначала услуги этого полужнакомого ей человека, которого она встречала в московских гостиных и изредка у себя, очень холодно и даже сделала ему серьезный отпор. Это, впрочем, не смутило нахального поляка.

– Напрасно, княжна, вы так швыряетесь друзьями! – хладнокровно заметил он, когда она на его предложение помочь ей в устройстве дел отвечала, что не нуждается ни в чьих услугах.

– Друзьями?! – презрительно оглядела его с головы до ног Александра Яковлевна.

– Да, княжна, друзьями или теми, кто хочет ими сделаться, – не сморгнув глазом, как бы не замечая презрительного взгляда и тона княжны, продолжал граф Довудский.

– Но надо спросить также и меня, я думаю, хочу ли я иметь другом того или другого? – высокомерно заметила княжна.

– В вашем положении не следует быть разборчивой.

Княжна побледнела. Кампания против нее хитрого поляка была выиграна.

– Впрочем, – продолжал граф Владислав Станиславович, – к чему с моей стороны такое самоунижение. Я совсем не представляю из себя человека, дружбой с которым могла бы пренебрегать даже княжна Баратова, если бы даже брат ее не умер так внезапно, оставив ее сиротой, оплакивающей его безвременную кончину. По рождению, по крови еще неизвестно, кто знатнее, князя Баратовы или графы Довудские.

Княжна окинула было его снова гневным взглядом, но это было лишь на мгновение: она опустила глаза под неотводно смотрящими на нее черными, как уголь, глазами графа.

– Так-то, княжна. . . Давайте вашу руку, и, поверьте, вы найдете во мне самого преданного друга, который заставит замолчать злые языки ваших врагов, – их у вас слишком довольно, чтобы наживать новых, – и даже некоторых друзей вроде пана Кржижановского.

При упоминании графом последнего имени княжна вдруг вспыхнула, но эта мгновенная краска сменилась моментально мертвенною бледностью. Граф Довудский продолжал стоять с протянутой рукой, пристально глядя на свою собеседницу. Последняя машинально подала ему руку. Станислав Владиславович с чувством поцеловал ее. Княжна вздрогнула, но не отняла руки.

– На жизнь и на смерть! – с пафосом произнес граф. Александра Яковлевна не отвечала ничего. Так заключен был этот странный союз.

На другой же день после этого разговора граф Довудский получил полную доверенность на ведение дел княжны Баратовой и ревностно принялся за исполнение своих обязанностей. Он без усталости рыскал по присутственным местам первопрестольной столицы, вел таинственные переговоры со стряпчими и маклерами и еженедельно давал обстоятельный отчет своей доверительнице.

Княжна слушала рассеянно отчеты ее поверенного против ее воли. Она, видимо, примирилась с ним, как с неизбежным злом. За последнее время она вдруг сделалась религиозной, почти ханжой, и ежедневно ездил на поклонение московским святым и на могилу брата. Под влиянием этого настроения, быть может, она считала графа Довудского грозным посланцем разгневанного неба.

Граф Станислав Владиславович благоговейно относился к религиозности своей доверительницы и ничем не нарушал ее стремлений к небесному. Это ему было тем выгоднее, что к числу «земного» относились и капиталы, и доходы княжны Баратовой, над которыми он в очень скором времени уже стал полновластным распорядителем.

Женитьба и даже серьезное ухаживание за княжной не входили, как видно, в расчеты графа Довудского. Болевшая, но еще сильно боровшаяся со смертью графиня Казимира Сигизмундовна Олизар служила ли к тому препятствием или же Станислав Владиславович находил, что и без обладания княжной, законно или незаконно, он достаточно крепко держит ее в руках ему одному известными средствами.

Кто проникнет в черные думы поляка?

III. В доме князя Прозоровского

В доме генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского весть о неожиданной внезапной кончине князя Владимира Яковлевича Баратова произвела впечатление громового удара. Привезенную княжну прямо из кареты отвели в ее комнату, а сопровождавшая ее Эрнестина Ивановна Лагранж тотчас же приказала доложить о себе старому князю.

Последний находился в кабинете и играл в шашки с учителем живших в доме князя двух племянников, Сигизмундом Нарцисовичем Кржижановским, проживавшим уже в течение нескольких лет в доме князя и успевшим не только привязать к себе своих учеников, но и получить неотразимое влияние на князя Ивана Андреевича.

Дом князя Прозоровского находился на Никитской, близ церкви Вознесения. Он был, как большинство московских домов того времени, одноэтажный, деревянный. Главный корпус стоял в глубине двора, в середине которого, как раз перед домом, разбит был круглый садик с жидкой растительностью, в описываемое нами время занесенный снегом.

По обеим сторонам главного дома, составляя как бы полукруг, выступали фасадом на улицу два флигеля, по три окна каждый, в одном из которых помещалась людская и кухня, а другой был отдан «под учителя», как выражалась княжеская дворня, который жил в нем со своими учениками. Флигеля были соединены с главным домом теплыми галереями.

Неуклюжий, далеко выдающийся вперед деревянный подъезд вел в обширные сени и просторную переднюю, где всегда дежурило несколько заспанных лакеев в ливрейных, затасканных фраках с заплатами на локтях и потрепанными фалдами. Нельзя сказать, чтобы слуги княжеского дома отличались чистотой и опрятностью, а потому в прихожей царил какой-то промозглый запах.

В самом доме было множество комнат; зала, две гостиных, угольная составляли так называемую парадную часть дома. Убранство их было несколько странно, хотя не отличалось от домов других московских бар средней руки, по состоянию к которым принадлежал и князь Прозоровский. Рядом с вычурной мебелью попадались стулья домашнего, грубого изделия из простого дерева, окрашенные желтой краской; рядом с картинами заграничных мастеров висела мазня доморощенного крепостного живописца.

Эрнестина Ивановна, опередив шедшего с докладом о ней лакея, быстро вошла в кабинет.

Быстро отворенная Эрнестиной Ивановной дверь кабинета заставила вздрогнуть князя, внимательно следившего, какой решительный ход сделает его противник, а последнего заставила поднять его красивую голову от шахматной доски.

– Что случилось? – голосом, в котором слышался испуг, спросил князь Иван Андреевич.

В Москве считали князя «странным», «чудаком», иные шли даже далее и находили его поврежденным в уме. Он действительно был страшно нервен и впечатлителен.

Как причину княжеских странностей и чудачеств в Москве рассказывали целый роман из его жизни. Говорили, что в молодости, вскоре после свадьбы, во время одной из поездок князя с молодой княгиней в Москву из его Саратовского имения, на дороге на них напали разбойники. Последние были дворовые люди, во главе с соседним помещиком вдовцом-красавцем, по уши влюбленным в княгиню. Преступная их цель была украсть молодую женщину.

Цель была достигнута. Княгиня Зоя Борисовна, находившаяся в интересном положении, была привезена в дом укравшего ее помещика, находившийся в пяти верстах от имения князя Ивана Андреевича, куда и вернулся несчастный, лишившийся своего сокровища, муж. Князь боготворил свою жену.

В страшном отчаянии он дожидался утра, чтобы поехать заявить местному губернатору о случившемся, но на рассвете похититель сам привез обратно похищенную им княгиню и упал в ноги оскорбленному мужу. Оказалось, что молодая женщина сумела повести себя со своим

непрощенным обожателем с таким достоинством и с такой холодностью, отнявшими у него всякую надежду на взаимность, добиться которой он решился таким отчаянным средством, начитавшись во французских романах о романтических приключениях, где женщины отдавали свое сердце придорожным героям.

Русская княгиня оказалась непохожею на героинь этих романов. Она привела его в такое смущение, что он, покорно следуя ее приказаниям, проводил ее к мужу. Это похищение и сила воли, с которою она поборола свое волнение, однако, не прошли ей даром.

Первенец князя родился мертвым. Добавляли, что, узнав об этом, похититель, на самом деле искренне любивший молодую женщину, бросил свое именье, отправился на богомолье и поступил в монахи в один из отдаленных монастырей.

Недолго князю Ивану Андреевичу пришлось быть счастливым с героиней-княгиней. Рождение дочери, княжны Варвары, стоило жизни матери. Князь Иван Андреевич был совершенно убит обрушившимся на него ударом. Около года он ни с кем ничего не говорил и казался совершенно сумасшедшим.

С годами это прошло, но странности в характере князя остались. Всю свою любовь он перенес на свою дочь, Варвару Ивановну, царившую в доме неограниченною повелительницей и считавшую в числе своих верных рабов и старика отца. В детстве это был прямо ребенок-деспот. С годами деспотизм несколько сгладился, но следы его остались в характере молодой девушки.

– Что случилось?.. – повторил князь, видя, что старуха француженка от волнения не может произнести ни слова.

– Какое несчастье, какое несчастье! – наконец вымолвила Эрнестина Ивановна на своем родном языке.

Князь Иван Андреевич вскочил и даже весь затрясся.

– Дочь...

– Княжна у себя, она очень, очень расстроена, такой неожиданный удар.

– Но что же случилось, скажете ли вы наконец?.. – вмешался в разговор Кржижановский.

Князь Иван Андреевич, жаждавший также узнать поскорее случившееся несчастье, поблагодарил его взглядом.

– Князь Баратов... – начала Эрнестина Ивановна и остановилась.

– Заболел?.. – спросил князь.

– Умер... – глухо произнесла француженка.

– Умер!.. – в один голос воскликнули князь и Кржижановский.

Князь как-то даже скорее упал, нежели сел снова на диван, почти бессмысленным взором обводя присутствующих.

– Успокойтесь, князь, – заговорил Сигизмунд Нарцисович, – ведь если человек умер, то ему уже не поможешь... Хорошо, что это случилось до свадьбы... Приятно ли было вам видеть вашу дочь вдовою в первый же год замужества? Бог с ним и с богатством... Княжне Варваре Ивановне не нужно богатства... Она сама – богатство... ей нужно счастье, а счастья не мог дать ей этот больной человек.

Для вящей убедительности в своей речи он даже дотронулся рукою до плеча князя. Он знал князя Ивана Андреевича – похвала дочери было лучшим успокоительным для него лекарством.

– Вы правы, Сигизмунд Нарцисович, правы, как всегда... Но что с Варей... Я пойду к ней... – заторопился князь и даже уже привстал с дивана.

– Оставьте, князь, дайте ей успокоиться, девушки обыкновенно лучше справляются со своими чувствами наедине... Княжна, конечно, потрясена неожиданностью удара... Она привыкла, быть может, к мысли видеть в покойном своего будущего мужа, но чувство едва ли играло первую роль... Княжна ребенок и еще не знает любви... Этот брак был актом послу-

шания советам окружающих... За княжну не бойтесь... На ее здоровье это серьезно не повлияет... Спросите m-lle Лагранж... Не правда ли?

– Я думаю, что вы правы... Княжна только испугана...

– Он всегда прав... – заметил князь.

– Но как это случилось? Расскажите... Садитесь...

Эрнестина Ивановна присела на другой конец дивана и начала свой доклад.

Она не утаила того, что отвезла княжну к Баратовой и, узнав, что княжна Александра дома, а следовательно, княжна Варвара не рискует остаться с женихом наедине, отправилась по своим делам. Когда же она вернулась, то все было окончено.

Затем m-lle Лагранж передала, что слышала от обоих княжон, бывших в кабинете, когда уже князь лежал мертвый, а портрет княжны Варвары, который он хотел нести в гостиную, валялся на ковре.

Не скрыла Эрнестина Ивановна даже выговора, который она сделала княжне в карете. Это последнее обстоятельство вызвало на толстых, чувственных губах Сигизмунда Нарцисовича чуть заметную улыбку.

Князь же не обратил на него внимания, весь поглощенный главными подробностями рассказа старухи француженки.

– С чего же это он так вдруг... И не был болен?

– Княжна говорит, что он выглядел совершенно здоровым, весело болтал с нею о последней бале и, вызвавшись показать ее портрет, который он отдавал отделявать в рамку, ушел из гостиной, чтобы больше не возвращаться...

– Боже, боже, как это все странно! – прошептал князь Иван Андреевич.

– А по-моему, ничего нет странного. Известно, какую жизнь вел в юности князь Баратов... Если жечь свечку с обоих концов, то она сгорит скоро... Князь несколько раз жаловался мне на общее недомогание и припадки грудных спазм. Последние, вероятно, и были причиной его смерти, парализовав сердце.

Я несколько занимался медицинской наукой и с первого взгляда определил, что он недолговечен, но не хотел высказывать своего мрачного пророчества и омрачать им светлую перспективу, которую вы, ваше превосходительство, видели в замужестве вашей дочери с князем Баратовым.

Князь Иван Андреевич молчал и сидел с низко опущенной головой. Эрнестина Ивановна тихо вышла из кабинета.

IV. Донской монастырь

Донской монастырь, находящийся у Калужской заставы, при первом к нему приближении, когда сквозь ветви деревьев видишь только белеющие башни и блестящие главы куполов, поражает своею красотою. Столетние деревья осеняют ограду и храм и составляют в окрестности небольшую рощу. Сколько исторических воспоминаний пробуждает в сердце истинно русского человека эта святая обитель.

Нельзя забыть, в память чего воздвигся здесь алтарь бескровной жертвы. Истинно русские люди искони отличались любовью к отечеству и искренней верой в Всемогущего Творца, в Того, чья десница благословила горы Киевские и освятила Днепр – купель наших предков; чья десница благословила начинания Владимира Святого, подкрепила Ярослава, покровительствовала Александру Невскому; поразила рукой Дмитрия полчища Батыевы и покорила под власть России многочисленные народы и на этих самых местах прославила оружие храбрых защитников этого отечества.

Забудут ли в таком случае русские люди битву Задонскую? Забудут ли, что наше отечество два века страдало под игом иноплеменных, что государи наши преклоняли колени перед ханами орд монгольских и получали венец царства, как дар их милостей? Забудут ли, что эта битва, знаменитейшая в летописях мира, есть основание нашей свободы?

Живо представляются воображению те минуты, как Дмитрий Иоаннович Донской, объезжая ряды своего воинства, говорил им:

– Братья! Час суда Божия наступает! Еще одна ночь, и мы узрим врага нашего: посвятите последние часы сии на бдение и молитву! Грозный день наступает и разрешит судьбу нашу. Мужайтесь! Тот час, в который вы должны показать всю твердость нашу, приближается, луч солнца озарит битву кровавую. Итак, братья, ополчитесь крепостью и призовите в помощь Господа, сильного в бранях, поборника в правде, и Он поразит ужасом сердца врагов наших! Кто верова Господеви и постыдится? Кто призва имя Его и призрен бе?

Так говорил Дмитрий, так чувствовали воины и заставили гордого Мамаю воскликнуть: «Велик Бог христианский!»

Так чувствовали и те воины, которые бились на этом поле против Кази-Гирея, хана крымского.

Великому князю Дмитрию Иоанновичу донское войско перед битвою поднесло образ Пресвятыя Богородицы Донские; он просил Ее заступления, веровал и одержал победу.

В 1591 году хан крымский Кази-Гирей с мечом и пламенем вступил в пределы нашего отечества и быстро шел к Москве. 13 июля он переправился через реку Оку, ночевал в Лопасне и на рассвете остановился против села Коломенского. Царь Федор Иоаннович поручил защиту столицы Борису Годунову.

На том месте, где стоит теперь Донской монастырь, стояли в оборонительном порядке русские войска. Памятуя заступление Богородицы в битве Куликовской, с верою в душе, обнесли, по приказанию военачальника, с синклитом духовенства, икону Пресвятыя Богородицы вокруг стана и поставили ее в полотняную церковь святого Сергия под хоругвь царскую.

Едва первый луч солнца блеснул в вершинах дубровных, как враги стремительно бросились к столице; сошлись войска, и солнце осветило страшную битву, где кровь иноплеменных мешалась с кровью христианской и трупы валялись кучами. Ожесточенный враг наступал сильно, но Десница Вышнего покрыла щитом своим и столицу, и войска, ополчила руки воинов на врага строптивного и укрепила мышцы их: враг не коснулся места освященного и, подобно Мамаю, со стыдом и злобою бессильною, отступил от столицы.

Всевышний спас свой город. Известны последствия этой битвы. Кази-Гирей потерял все войско и весь израненный едва успел уехать на простой телеге.

Полотняный храм святого Сергия с иконой Богоматери остался на месте неприкосновенным, и царь Федор в ознаменование своей благодарности основал на этом месте монастырь и назвал его, во имя Богоматери, Донским.

Такова светлая историческая страница об основании этого монастыря, которую мы не решились обойти молчанием.

Первоначально царь Федор Иоаннович построил маленькую церковь и небольшие кельи. Эта церковь во имя святого Сергия существует и поныне на том месте, где стояла полотняная церковь во время битвы. Монастырь увеличивался постройками церквей и зданий и к описываемому нами времени, благодаря вкладам царей и частных лиц, был одним из самых богатых.

Обширное кладбище монастыря вмещает в себе множество великолепных памятников, под которыми покоятся именитые московские люди; многие из усопших, нашедших место вечного успокоения на кладбище Донского монастыря, принадлежали к царской фамилии и особенно к фамилии царей грузинских.

Здесь же, в храме Пресвятой Богородицы Донские, незадолго до начала нашего рассказа был похоронен преосвященный Амвросий – невинный страдалец, павший от руки мятежников в 1771 году.

На этом-то кладбище, в особом склепе за вычурно-железною оградой, вмещавшей в себе несколько гранитных памятников, нашел, как мы уже знаем, себе вечное успокоение и внезапно скончавшийся князь Владимир Яковлевич Баратов.

В описываемый нами день в монастыре с самого раннего утра господствовало необычайное оживление, хотя день не был праздничный, в который можно было бы ожидать наплыва богомольцев. Дорогу, ведущую от монастырских ворот к главному храму, несколько послушников посыпали песком. Расчищали старательно дорожку, ведущую от храма к месту князей Баратовых, и также посыпали густым слоем песку. В храме тоже чистили и убирали, переменили свечи и опраляли лампы.

Был сороковой день смерти князя Владимира Яковлевича Баратова. Еще за несколько дней была заказана заупокойная литургия, после которой должна была быть отслужена на могиле панихида. Этим и объясняется господствовавшее оживление в Донском монастыре.

К одиннадцати часам утра начался съезд экипажей. Первой приехала княжна Александра Яковлевна Баратова в сопровождении графа Довудского. Они прошли в церковь.

Почти вслед за ними подъехала карета, из которой вышли Эрнестина Ивановна, княжна Варвара Прозоровская и белокурая молодая девушка с тонкими чертами бледно-воскового лица, бескровными губами и большими голубыми глазами, выразившими какую-то болезненную грусть.

Это была Капочка, подруга детства княжны, дочь бедной дворянки, умершей, когда девочке было шесть лет, – отца она лишилась ранее, – нашедшая приют в доме князя Ивана Андреевича как своего родственника, хотя и очень дальнего.

Капитолина Андреевна Строганова – как значилась она в метрическом свидетельстве – жила в доме князя на положении полубарыни, полугорничной. Спала она в девичьей, хотя и в отделенном ширмами уголку, дни же проводила в комнате княжны, но в гостиную выходила только к очень близким знакомым. Платья носила она с княжеского плеча.

Приехавшие также вошли в церковь, которая вскоре начала наполняться все прибывавшими и прибывавшими посетителями. Приехал и князь Иван Андреевич Прозоровский с Сигизмундом Нарцисовичем Кржижановским.

Началась служба. Обе княжны, сестра и невеста, молились почти все время на коленях. После них усерднее всех молилась Капитолина Андреевна. Слезы нет-нет да и блистали в ее прекрасных печальных глазах.

Монастырская служба отличается продолжительностью и той печальной торжественностью, которая невольно заставляет перенестись к мысли о тщетности всего земного, преходя-

щего, к смерти, к загробной жизни, к вечности, к тем небесным селениям, где нет ни печали, ни вздыхания. Она невольно всех располагает к молитве.

Наконец служба кончилась. Духовенство и певчие вышли из храма и направились к месту склепа князей Баратовых. Все присутствовавшие последовали туда же. Началась панихида.

День был морозный и ясный. Зимнее холодное солнце освещало покрытое белоснежным ковром жилище мертвых – кладбище; по нем желтой лентой вилась посыпанная песком дорожка, а на остальном его белом фоне рельефно выступали надгробные плиты и памятники.

Возгласы духовенства и пение клира далеко разносились кругом по морозному воздуху. В первых рядах, у самой свежей могилы, стали княжны Александра и Варвара, а рядом с последней Капочка. Панихида уже подходила к концу, как вдруг Капитолина Андреевна пошатнулась и упала на руки подоспевших мужчин, в числе которых был и граф Довудский, стоявший сзади княжны Баратовой. Мужчины довели бесчувственную девушку до паперти церкви святого Сергия, находившейся в нескольких шагах от могильного места князей Баратовых, и положили на лавку в притвор и уступили место дамам, расшнуровавшим несчастную.

Она пришла на некоторое время в себя.

– Княжна Варвара... – чуть слышно прошептала она.

Княжна Варвара входила уже в притвор, так как панихида окончилась.

– Она просит вас... – встретили княжну ухаживавшие за Капочкой.

Варвара Ивановна подошла к лежавшей подруге.

– Что тебе, что с тобой?.. – тревожно спросила она.

– Наклонитесь...

Княжна приблизила свое ухо к губам лежавшей Капочки. Последняя что-то спешно начала шептать. По мере того, как княжна слушала, смертельная бледность покрыла ее щеки.

Вдруг она вскрикнула и совершенно неожиданно для окружающих, не успевших поддержать ее, как сноп повалилась на каменный пол. С лавки раздался тоже слабый вскрик. На последний никто не обратил внимания. Все бросились к лежавшей распростертой на полу княжне Варваре Ивановне.

Слух о втором обмороке, уже с княжной Прозоровской, облетел находившихся на кладбище. По приказанию настоятеля бесчувственная княжна была принесена в его покои, где она через несколько времени пришла в себя. Когда вернулись к забытой в притворе Капочке, на лавке нашли бездыханный труп молодой девушки.

Весть эту не передали бы, конечно, княжне Варваре Ивановне, если бы она, уже совершенно оправившаяся от обморока, не спросила сама:

– Капочка умерла?

Ей ответили утвердительно.

– Так и должно быть. Они так будут вместе! – произнесла княжна ни для кого не понятные, загадочные слова и, почти твердо шагая, направилась к карете, поддерживаемая Эрнестиной Ивановной, моргавшей полными слез глазами.

Князь Иван Андреевич, совершенно потрясенный происшедшим, уехал домой, поручив Кржижановскому все хлопоты, возникшие по поводу смерти Капитолины Андреевны.

Прибывшая в монастырь полиция составила акт, а ближайший врач, который оказался сговорчивее домашнего врача князя Баратова и констатировал смерть от разрыва сердца, беспрепятственно выдал свидетельство. Частный пристав также имел основание признать его действия правильными.

Несколько приглашенных женщин обмыли покойницу, одели в привезенное из дому княжны белье и платье, положили в наскоро купленный гроб и поставили в одну из часовен монастыря.

Через три дня состоялись похороны.

Княжна Варвара Ивановна настояла, чтобы Капочку похоронили на месте, самом ближайшем к фамильному склепу князей Баратовых. Хотя такое место оказалось очень дорогим, но князь Иван Андреевич принужден был исполнить каприз своей баловницы дочери. Ничем иным, как капризом, не мог он объяснить эту странную настойчивость княжны Варвары Ивановны. Не мог понять он и внезапную смерть Капочки.

– С чего это она... так вдруг? – задавал он недоумевающие вопросы Сигизмунду Нарцисовичу.

– Как с чего? Смерть пришла... ну и умерла... Она и так все время на ладан дышала... В чем только душа держалась... диво было! – ответил последний.

Княжна Варвара Ивановна ходила задумчивая, печальная – туча тучей, как говорила княжеская дворня.

У. В Польше

В то время, когда в Москве происходили описываемые нами события, действующими лицами которых были и сыны когда-то славной Польши, последняя политически доживала остаток своих дней.

Конституция польского королевства, получившая полное развитие в последний период его существования, зародилась давно. В удельное время началось усиливаться значение дворянства, при Казимире Великом получило определенную форму и затем продолжало расти.

С того времени внутренняя история Польши состоит из непрерывной цепи захватов дворянства из сферы королевской власти. Оставляя в удел народу тяжкое иго, шляхта добивалась для самой себя вольности, которая может существовать лишь в отвлеченном понятии, и результатом таких усилий явилось *liberum veto*, дающее право одному члену представительного учреждения парализовать решение всех остальных, знаменитое историческое «не позволяем» – фраза, могущая служить лучшей красноречивой эпитафией над политической могилой Польши. Всякая законодательная власть была как бы уничтожена, в государственном сейме внесено зерно ничем не устранимого раздора, и в течение ста лет 47 сеймов разошлись без всякого толка.

Наступила эпоха падения, нравы испортились, распространилось религиозное неверие и легкомыслие; пронырства, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. До полного хаоса недоставало одного – иноземного влияния.

За этим дело не стало.

Соседние государи держали на жалованье своих приверженцев, имели свои партии, травили их одну на другую. Хроническая смута укоренилась, Польша быстро двигалась по наклонной плоскости в пропасть. Польское дворянство добивалось и добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот близорукий, преступный эгоизм подточил и внутреннюю силу государств, и внешнее его значение, низведя и то и другое до полного ничтожества. А соседи тем временем формировались, росли и крепили в смысле государственных организмов. Польша могла уцелеть лишь на каком-нибудь отделенном от всего мира острове, без соседей, без посторонних влияний и происков, но в семье государств ей грозила неизбежная гибель.

Некоторые из поляков схватились наконец за ум, но уже было поздно. В политике несвоевременность – грех неисправимый. Падение Польши стало неминуемым; она дошла до него не по собственной вине, которой соседи только воспользовались.

При другой обстановке дело произошло бы, может быть, несколько иначе, но результат был тот же, так как исчезновение государства с лица земли не может быть последствием одних внешних причин. Напротив, задержка катастрофы, препятствие к ней, заключались не в Польше, а именно в ее соседях, ревниво следивших друг за другом. Польша была добычей – трудность заключалась лишь в дележе.

В описываемую нами эпоху разложение Польши было полное: король с одним призраком власти; могущественные магнаты, ставившие свою волю выше и короля, и закона; фанатическое духовенство с огромным влиянием и с самым узким взглядом на государство и на религию в государстве. Народа не существовало, он был исключительно рабочей силой, не имел никаких прав, находился под вечным гнетом; сословие горожан, ничтожное и презренное, равнялось нулю.

Внутренняя рознь дошла до своего апогея; король против магнатов, магнаты против короля и шляхты, шляхта против короля и магнатов; духовенство дробилось отчасти по этим партиям и упорно стояло против всего некаатолического. Партийные интересы перекрещива-

лись в разных направлениях, везде царил мелочной дух, себялюбие отождествлялось с патриотизмом.

Только великий государь мог бы лавировать с успехом между такими подводными камнями, но его в Польше не было. Станислав Понятовский, достигший польского престола при поддержке русского правительства, при некоторых своих достоинствах отличался отсутствием характера – не имел качества, которое именно и было ему необходимо в трудную эпоху царствования. Он постоянно колебался, никогда не решал раз навсегда и мало-помалу потерял доверие всех. Он не в силах был предотвратить взрыва, так как не он управлял событиями, а события управляли им.

В описываемое же время двигателем событий являлся религиозный фанатизм – слепая антигосударственная сила, справиться с которой было бы невмочь и человеку покрепче Станислава Понятовского. Была пора, когда католичеству грозила в Польше серьезная опасность, и церковная реформация приобрела себе между поляками огромное число влиятельных приверженцев. Диссиденты (разномыслящие в вере) добивались почти полной равноправности с католиками, но потом течением событий и собственными своими ошибками из равноправных до степени терпимых. Дело не остановилось и на этом, пошли обиды, притеснения и угнетения.

При Станиславе Понятовском диссиденты потребовали удовлетворения своих жалоб и были поддержаны Россией и Пруссией. В Варшаве собрался сейм. Люди благоразумные и умеренные не прочь были уступить, но фанатики не соглашались, раздражались огненными речами и тормозили ход прений. Русский посланник князь Репнин приказал ночью арестовать четырех из них, самых ярых и влиятельных, и отправил в Россию. Противники диссидентов примолкли или разбежались, и закон, восстанавливающий прежние права не католиков, прошел.

Поступок князя Репнина был крайне резок, но соответствовал, впрочем, с его поведением вообще. Высокомерие его с поляками и всякого рода насилия, которые он позволял себе в Польше, представляются в настоящее время изумительными и маловероятными. Они выражали полное пренебрежение и даже презрение к нации, при дворе которой Репнин был аккредитован. Они были немыслимы нигде, кроме Польши, и служат фактическим доказательством ее нравственного упадка и материального бессилия.

Неудовольствие и негодование быстро распространились и произвели взрыв.

Некто Пулавский, служивший поверенным в делах у разных вельмож и тем снискавший себе состояние и связи, проектировал план общей конфедерации. Втайне приобретая приверженцев и средства, он отправился в местечко Бар, близ турецкой границы, и тут впервые конфедераты, в числе восьми человек, подписали акт конфедерации 29 февраля 1768 года.

Конфедерация эта получила название Барской. Весть о ней разнеслась быстро; число конфедератов возросло до 8000; маршалами конфедерации избраны Пулавский и граф Крассинский; издан универсал для созвания дворянства и всеобщего вооружения против русских и диссидентов. Движение распространялось.

Образовались конфедерации и в других местах; во главе их становились лица знатнейших польских фамилий.

По получении из Петербурга приказаний находящиеся в Польше русские войска атаковали конфедератов всюду; взяли много важных пунктов и прогнали неприятеля в леса. Но у конфедератов было много тайных единомышленников в среде мирного населения, они обнаруживали большую живучесть и росли, как гидра.

России понадобилось усилить свои войска. Главное начальствование над ними было поручено генерал-поручику фон Веймарну. Он был человек умный и ловкий, особенно по дипломатической части, и в военном деле не без некоторой опытности, но немного педант и мелочно самолюбив.

Главная его заслуга заключалась в том, что он в военных действиях ввел единство, которого до тех пор не было. При нем русские войска до прибытия подкреплений, хотя были очень

разбросанны и слабы, но могли друг друга поддерживать; подвижные колонны ходили по всем направлениям, отдельные посты поддерживали сообщения во все стороны. Когда оказывалось нужным, сосредотачивались довольно значительные силы.

Конфедераты превосходили русских числом, но им не доставало именно этого единства, не говоря уже про дисциплину, так что в результате русские оказывались более сильными.

В Варшаве ходили тревожные слухи; говорили, что маршал Котлубовский находится вблизи с 8000 конфедератов; что он готовится к нападению на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою по Висле. Тайных конфедератов в Варшаве было много; можно было ожидать беспорядков, а в случае нападения Котлубовского и чего-нибудь хуже.

Прибытие подкреплений из России было очень кстати.

Вскоре пришло известие, что двое Пулавских, сыновья маршала Барской конфедерации, ходили с большими силами по Литве, волновали шляхту и набирали приверженцев. Часть прибывших русских войск пошла, вследствие этого, для соединения с войсками, бывшими в Литве.

В течение целых двух лет действия войск ограничивались мелкими стычками с конфедератами и удерживанием их в почтительном отдалении. Для крупных дел, для решительных ударов русские войска были все-таки слишком малочисленны, а усилить их не было возможности, потому что все, чем могло располагать правительство, было выставлено против Турции.

Герцог Шуазель, управляющий во Франции министерствами военных и иностранных дел, очень ревниво смотревший на развивавшееся могущество России, старался поставить ее в затруднительное положение и с этою целью вошел в переговоры со Швецией и Турцией. В Стокгольме он потерпел неудачу, но в Константинополе успел.

Возбуждаемая советами бежавших конфедератов и подстрекаемая Францией, Порта потребовала у петербургского двора немедленного очищения Польши, а потом, не дождавшись ответа и схватившись за случайное сожжение пограничного своего местечка Бонты русскими войсками, преследовавшими конфедератов, объявила России войну.

Поляки возликовали, и вместо того, чтобы действовать с удвоенной энергией, они возложили все свои надежды на Турцию, больше прежнего стали держаться выжидательного положения и вели войну вяло. Наступило нечто в роде затишья, очень выгодного для русских по малочисленности их сил.

Среди этого затишья застал обе воюющие стороны 1771 год. Не ограничившись поднятием Турции против России, Шуазель еще в 1769 году послал в Польшу заслуженного офицера де Толеса с большою суммою денег для оказания конфедератам пособий и руководства их военными операциями. Но несогласие и раздоры польских дворян скоро убедили Толеса в бесплодности его миссии, и он возвратился во Францию, привезя назад деньги.

Вместо Толеса Шуазель послал полковника Дюмурье. На верховном совете конфедератов в Эперьеше, в Венгрии, Дюмурье, в видах установления единства начальствования, предложил в предводители принца Карла Саксонского, который обещал выставить 3000 саксонских войск. На это согласились все, кроме Пулавского. Затем он выписал от Шуазеля офицеров всех родов оружия. Составлен был подробный план будущих военных действий. Особенное внимание было приложено к созданию и образованию пехоты путем привлечения австрийских и прусских дезертиров, а также польских крестьян. Ружья были заказаны в Венгрии и Силезии, и большой их транспорт, до 22 000, ожидался из Баварии³.

С помощью этих и других мер Дюмурье собрал до 60 000 конфедератов и открыл кампанию 1771 года. Вначале счастье улыбнулось французам и полякам.

³ Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.

VI. На Висле

Стояла тихая майская ночь 1771 года.

На небе, усеянном звездами, сверкал серебристый диск луны. Своим мягким беловатым светом освещал он темный лес и проникал своими лучами фантастического зеленоватого света под свод черных сосен.

Огни были погашены, и русский лагерь отдыхал. Кое-где раздавалось ржание коня, который, фыркая, скакал по прошлогодним листьям и мху, покрывающим землю. Из глубины леса слышались порой окрики часовых:

– Кто идет?

Затем все снова стихало.

Вот медленно проходит унтер-офицер для смены караула. Солдаты, одетые в шинели, уходят без шума, исчезают, как привидения. На смену их являются другие, чтобы в свою очередь нести сторожевую службу.

На прогалине леса у костра сидели человек десять солдат в разных позах, иные дремали, иные слушали монотонный, как шум воды, рассказ старого товарища, бывалого уже в боях и видавшего виды. Другие, тихо разговаривая, курили свои трубки.

– Еремеев, подбавь-ка хворосту... – слышится приказание унтер-офицера, лениво набившего свою трубку.

Молодой солдатик вскочил и мигом исполнил приказание ближайшего начальства. Костер с треском разгорается. Вылетает целый сноп искр, и большое пламя освещает окружающую дикую местность, сложенные в козлы ружья, стволы сосен, и красный отблеск огня теряется в темноте густого леса. Старый солдат все продолжает свой рассказ.

– На немца ходили мы при матушке Елизавете, этот, братцы мои, хитер, с ним ухо остро держать было надо, выскочат, как бесенята какие, прости Господи, там, где их и не ждешь совсем...

– А поляк? – слышался чей-то вопрос.

– Поляк... – сильно затянувшись, так, что трубка захрипела, и сплюнув в сторону, продолжал рассказчик. – Поляк, – мы тоже его доподлинно знаем, – глуп... Он форсит, на это его взять, только из форсу-то его выходит один для него конфуз, баба его подзадорит, он на словах для нее на рожон лезть готов, шапку заломит, пошел ходить, а как до дела чуть, сейчас и «до лясу».

– Одначе, они тут, надясь, бойко орудовали, и нашим не поздоровилось... – вставил замечание один из слушателей.

– Так тут с ними француз орудует... А одному ему – куда. Плясать он – лих, болтать он – лют, пить – мастер, а воевать – на то его нет... Да притом, пока он здесь озорничал, на его батюшки-командира не было... Я ведь, братцы, суздалец...

– Что же, что суздалец, такой же солдат, как и другие... Суздальский-то полк нешто выше других. Хвастать ты горазд и все вы, суздальцы... Я-де суздалец... В отряд вас напихали, а что толку... – раздражительно заметил другой, тоже старый солдат.

– Эх, старина, старина, до седых ты волос дожил, а ума тебе, кажется, у поляков занимать надо, а у них насчет этого товару не разгуляешься... Суздальцы, что такое суздальцы... Слышал ты небось о генерале Суворове?..

– Слышал...

– То-то слышал, да не дослышал... Суздальский-то полк с ним почитай два года в Ладогe стоял, а он, отец-командир, бывало, говаривал: «Солдат и в мирное время на войне». Так-то...

Затеявший спор молчал.

– Едва взойдет солнце, он, бывало, родимый наш, уж на ногах и сбор бить велит. «На вахтпарад, братцы, на вахтпарад, – кричит он нам, – смотрите, уж птички Божьи поднялись, а нам грешно не встретить солнышко в чистом поле!» Потом разделит полк и полковую артиллерию на две части и давай сражаться! Сперва застрельщики, потом атака на пушки, на кавалерию и, наконец, в штыки. Напоследях он, батюшка, сам не свой... Бросится, бывало, вперед с обнаженной шпагой и кричит что есть мочи: «Штык в полчеловека, ура! Бей! Коли! Вперед, бегом!.. Наблюдай интервалы!.. Ура, ура!.. Спасибо, братцы! Спасибо, чудо-богатыри!.. Пуля – дура, штык – молодец!.. Победа – слава! Всем по чарке водки!.. Ступай домой!..» Вот он какой командир!..

– С таким смучаешься, – заметил один из молодых солдат.

– Эх ты, дурья голова, а ты в солдаты пошел на боку лежать?.. Так на то бабы Богом приспособлены... А мы не только не скучали таким ученьем, а рады-радешеньки ему были... Втянул он, значит, нас в славную солдатскую науку.

Наступило на несколько минут молчание. Слышно было только, как трещал хворост в костре и сопели солдатские трубки.

– А мы раз, братцы, монастырь штурмой взяли... – снова заговорил балагур-солдат.

– Свой?

– Вестимо свой, для прилику. Захотелось ему, батюшке, показать молодым солдатам штурму. Однажды во время маневров он построил полки и нагрянул на близлежащий монастырь и мигом взял его приступом... Монахи спервоначалу страсть как перепугались... Матушка-императрица Екатерина вызывала командира.

– Досталось?..

– Нет, похвалила даже.

– Дела!..

– Это что, я с ним, батюшкой, на немца ходил... Так там он истинно чудеса делал.

– Ну!..

– Я тогда в гусарах служил и под его команду попал... «Ребята, – говаривал он нам, – для русского солдата нет середины между победой и смертью. Как сказано «вперед», так я не знаю, что такое ретирада, усталость, голод и холод... Успех на войне в глазомере, быстроте и натиске». И действительно, была с ним сотня казаков да нас тоже с сотню гусар... В одну ночь проскакали мы сорок две версты и прискакали к городу Ландсбергу. Высланные вперед для рекогносцировки казаки, вернувшись, объявили, что в городе прусские гусары... «Помилуй бог, как это хорошо, – отвечал Суворов, – ведь мы их и ищем...» – «Не прикажете ли узнать, сколько их?» – заметил сотник. «Зачем! Мы пришли их бить, а не считать! Стройся!» – командовал он нам и затем крикнул «марш-марш». Город был взят, пруссаки сдались, хотя были впятеро сильнее.

– Д-да... молодец.

– Уж такой молодец, что другого нет. В городе Голнау его ранили картечью в ногу... Он, батюшка, примочил рану водкой из фляжки и снова вскочил на лошадь... Его начальство было в госпиталь прогнать, а он сказал: «На коне лучше, чем в госпитале...»

Рассказы словоохотливого солдата казались неистощимы.

Вдруг со стороны реки раздался выстрел, затем другой, третий. Солдаты вскочили, в один миг схватили ружья и бросились из леса по направлению к берегу, где выстрелы уже сделались частыми. Это поляки вздумали неожиданно напасть на русский лагерь.

В лагере, действительно, произошло некоторое смятенье. Солдаты спали, но при первом выстреле весь лагерь проснулся. Бросились к ружьям. Лагерь сразу ожил. Воскликания смешались с бряцанием оружия и ржанием лошадей, чующих порох. Слышались брань и проклятия.

– Ах, негодяи!.. Подобрались-таки... Кто мог их ожидать!.. Понабрались духу.

– К оружию, к оружию, вперед, вперед!

Отряд в стройном порядке встретил неприятеля и без особого труда обратил его в бегство. Русские остались хозяевами положения и леса.

Снова раздаются тихие шаги под деревьями, шорох ветвей, тяжелые вздохи, бегущие тени и журчанье реки, которое отчасти заглушало эти звуки. Из середины толпы, освещенной луной, слышались жалобные стоны.

– Помилуй бог, что там такое? – раздался резкий голос, заставивший расступиться толпу.

– Генерал... – пронеслось среди солдат и офицеров.

Это был действительно Александр Васильевич Суворов. Небольшого, даже, вернее, маленького роста, несколько сгорбленный, он имел далеко не представительный вид, на голове его были редкие, уже начинавшие седеть волосы, на лице, несмотря на то что ему было только сорок лет, были морщины. Впрочем, выражение этого, ничем не замечательного лица оживлялось умным, пронизательным взглядом.

Расступившаяся толпа открыла печальное зрелище. Трое смертельно раненных лежали на земле. Двое солдат лежали неподвижны, а третий, совсем юный офицер, полулежал, поддерживаемый тем самым балагуром солдатиком, который за какой-нибудь час перед тем рассказывал товарищам о Суворове.

– Помилуй бог, вы ранены, Лопухин... – подошел к юноше Александр Васильевич.

– Я... немного... она... дело... медальон, – прошептал раненый.

– Что... как... как...

– Я вам говорил... генерал...

– Знаю, знаю... Но не в том дело, помилуй бог...

Суворов опустился на колени и поспешно расстегнул мундир Николая Петровича Лопухина – так звали молодого офицера.

– Помилуй бог, дружище, помилуй бог!.. Но это пройдет, все пройдет.

Раненый откинулся назад.

– О, как я страдаю... Поскорее бы конец... – шептал он.

– Что вы говорите... Помилуй бог!.. Сейчас уже и умирать...

– Да, да, я умираю... Не забудьте... мой отец... Саша... вы знаете... Саша... я ее люблю... я ее... обожаю...

Раненый захрипел. Голова его упала на грудь, между тем как правая рука сжимала висящий на груди золотой медальон.

– Умер, умер! – с отчаянием в голосе воскликнул Суворов. Он приложил руку к сердцу раненого. – Нет, нет... оно бьется... Это обморок, положите его на землю...

Солдат, поддерживавший Лопухина, бережно опустил его на траву. Александр Васильевич расстегнул рубашку на его груди. Она вся была залита кровью. Он вынул свой носовой платок, осторожно вытер кровь и обнаружил рану в правом боку. Пуля остановилась между двух ребер. Из растревоженной раны появилось сильное кровотечение. При каждом движении, даже дыхании несчастного, кровь текла ручьем. Суворов сильно прижал рану двумя пальцами.

– Берите-ка его, братцы, двое за руки, а двое за ноги! – скомандовал он окружавшим солдатам. – Поднимайте, но осторожнее, помилуй бог, осторожнее...

Солдаты бережно исполнили приказание любимого начальника. Ровным шагом шли они, унося бесчувственного Лопухина. Суворов шел с ними рядом, по-прежнему двумя пальцами правой руки закрывая рану молодого офицера. Он не отводил глаз с бледного лица несчастного раненого. Кровавая пена покрывала губы последнего.

Сзади их еще раздавались последние выстрелы – это уже стреляли по обратившимся в бегство полякам чересчур рьяные их преследователи.

Солдаты, несшие раненого, и Суворов достигли перевязочного пункта. Искусный старый фельдшер Иван Афанасьевич быстро и умело принялся за дело. Он положил раненого на кожаный матрац и исследовал рану зондом, покачал сомнительно седой головой.

– Что, старина, плохо? – с тревогой в голосе спросил его Александр Васильевич.

– Плоховато, Александр Васильевич, плоховато, ваше превосходительство, да ничего, Бог даст, выживет, молод, натура лучше врача.

– Помилуй бог, как хорошо ты молвил, старина... Натура лучше врача, помилуй бог, как хорошо.

Иван Афанасьевич приступил тотчас к извлечению пули. Операция под его искусными руками удалась отлично. Перевязка уже была окончена, когда страдалец пришел в себя и удивленно оглядывался кругом.

– Что, братец, дурной сон приснился? – обратился к нему Александр Васильевич, подавая окровавленную пулю. – Ничего, все хорошо, что хорошо кончится... Помилуй бог, хорошо...

Раненый не мог говорить и только перевел полный благодарности взгляд с генерала на фельдшера.

– Через две недели опять на ногах, опять молодцом! Чудо-богатырь!.. – сказал Суворов и удалился к своему уже собравшемуся после отражения неприятеля отряду.

Выстрелы уже давно прекратились. Затих как бы и ветер, бушевавший в эту ночь, и только Висла по-прежнему с ровным шумом катила свои валы. Наступило раннее утро.

– Спасибо, чудо-богатырь, славно намылили голову бунтовщикам, другой раз не сунутся будить русских людей, спросонок русский человек бьет еще сильнее... Спасибо, чудо-богатыри!

– Рады стараться, ваше превосходительство! – гулко разнесся по всему лесу ответ тысячи голосов на приветствие любимого начальника.

В отряде уже знали, как отнесся генерал к раненому молодому офицеру, любимому солдатами за мягкость характера, за тихую грусть, которая была написана на юном лице и в которой чуткий русский человек угадывал душевную боль и отзывался на него душой. Такая сердечность начальника еще более прибавляла в глазах солдат блеска и к без того светлому ореолу Суворова.

Оставим его на дороге к Кракову, где и произошло несколько стычек с думавшими напасть на него врасплох поляками, и попытаемся передать картину раннего детства и юности этого выдающегося екатерининского орла, имя которого было синонимом победы и который силою одного военного гения стал истинным народным героем.

Слабо перо, но сильно желание.

VII. Детство Суворова

При московском великом князе Семене Ивановиче Гордом выехали из Швеции в Московскую землю «мужи честны» Павлин с сыном Андреем и тут поселились.

Потомство их росло, местилось и расселялось. Один из этих потомков назывался Юда Сувор. От него пошел род Суворовых.

Прадеда Александра Васильевича Суворова звали Григорием Ивановичем, он был сыном Ивана Парфентьевича и дедом Ивана Григорьевича.

Иван Григорьевич Суворов служил при Петре Великом в Преображенском полку генеральным писарем, был дважды женат и умер в 1715 году. От первой жены он имел сына Ивана, от второй (Марьи Ивановны) – Василия и Александра.

Все три сына Ивана Григорьевича были женаты и оставили по себе потомство; Василий Иванович имел сына Александра и дочерей Анну и Марию.

Василий Иванович Суворов родился в 1705 году. Крестным отцом его был Петр Великий. Это обстоятельство легко объясняется местом служения Ивана Григорьевича в Преображенском полку и в Преображенском приказе.

В 1722 году Василий Иванович Суворов поступил денщиком к государю, при Екатерине выпущен в Преображенский полк сержантом, два года спустя пожалован в прапорщики, а в 1730 году произведен в подпоручики. В конце тридцатых годов был он Берг-коллегии прокурором в чине полковника и в сороковых годах получил генеральский чин.

Василий Иванович Суворов был вообще хороший, с образованием, ретивый, исполнительный служака, недурной администратор, особенно по части хозяйственной, но из ряда современников не выступал и никакими военными качествами не отличался. С сыном он имел очень мало общего; главной точкою соприкосновения их характера была бережливость, даже скупость, но и то совершенно различного свойства.

В Василии Ивановиче не было ничего похожего на ту поражающую энергию и необыкновенное развитие воли, которые оказались потом отличительными чертами его сына. Не перешли ли эти и другие особенности к А. В. Суворову от матери, в каком смысле влияла она на развитие их в своем сыне, сознательно или бессознательно, отрицательным образом или положительным?

Ответа на подобные вопросы, замечает биограф А. В. Суворова А. Петрушевский, нет, а между тем знакомство с характером матери, ее темпераментом, воспитательными приемами, быть может, разъяснило бы многое в смелой и загадочной натуре ее сына.

О матери Александра Васильевича Суворова известно только то, что ее звали Авдотьей Федосьевной и что вышла она замуж за Василия Ивановича в конце 20-х годов. Отец ее Федосий Мануков был дьяк и по указу Петра Великого описывал Ингерманландию по урочищам. В 1718 году, во время празднования свадьбы князя-папы, он участвовал в потешной процессии, одетый по-польски, со скрипкою в руках; в 1737 году был петербургским воеводою и в конце года судился за злоупотребления по службе.

Год рождения Александра Васильевича Суворова точно неизвестен. Большая часть его историографов называют 1729 год, который обозначен и на его гробнице, но это едва ли верно.

В одной из официальных бумаг он сам говорит, что вступил на службу в 1742 году, имея от роду 15 лет; по другим его показаниям, рождение его можно отнести и к 1729, и к 1730 году.

Но в одной его собственноручной записке на итальянском языке сказано: Io son nato 1730 il 13 Novembre. В письме его вдовы к племяннику Хвостову и на надгробном памятнике значится, что муж ее родился в 1730 году. Этот же год получается и из формуляра, составленного в 1763 году, когда Александр Васильевич был полковым командиром. Эти и довольно мно-

гочисленные другие данные приводят к заключению, что 1730 год следует считать годом его рождения скорее, чем всякий другой.

Где именно он родился, тоже неизвестно. По словам одних его историографов утверждают, что в Москве, другие называют его родиной Финляндию. Но и то и другое одинаково бездоказательно.

Принадлежа к дворянскому роду, хотя не знатному, но старому и почтенному, Суворов появился на свет при материальной обстановке не блестящей, но безбедной. Предки его за добрую службу в разных походах получали от правительства поместья; дед владел несколькими именьями и, судя по некоторым данным, не был расточителен. Отец и того больше.

Мать его тоже нельзя назвать бесприданницей, как это видимо по отдельной записи 1740 года на движимое и недвижимое имения в Москве и Орловском уезде между ею, поручицей Авдотьей Суворовой, и ее сестрой полковницей Прасковьей Скарятиной. При всем том состояние Василия Ивановича Суворова, впоследствии довольно значительное, было в детские годы сына невелико.

Из разных документов, как-то: вотчинных отчетов, записей, послужных списков отца и сына, можно заключить, что Василий Иванович владел в то время приблизительно тремя сотнями душ и был человеком обеспеченным, но небогатым.

В 1741 году, когда по малолетству императора Иоанна Антоновича Россией управляла его родительница принцесса Анна Леопольдовна, в глуши Новгородской губернии, в своем имении, мы застаем отставного бригадира Василия Ивановича Суворова живущим на покое со своей женой Авдотьей Федосьевной и сыном Александром.

Сам Василий Иванович был военным человеком только по званию и мундиру, не имел к настоящей военной службе никакого призвания, а потому и сына своего предназначал к гражданской деятельности. Хотя военная карьера была в то время наиболее почтенная, но решение отца оправдывалось тем, что сын казался созданным вовсе не для нее: был мал ростом, тощ, хил, дурно сложен и некрасив. К тому же для кандидатства на военное поприще было уже много упущено времени.

С Петра Великого каждый дворянин обязан был вступать в военную службу, начиная ее с нижних чинов. Даже знать не могла отделяться от этого общего закона. Нашли, однако, средство исполнять постановление по букве, обходя по духу.

Дворяне, особенно знатные и богатые, записывали своих сыновей в гвардию при самом их рождении или в годах младенческих, иногда капралами и сержантами, а у кого не было случая или связей – просто недорослями и оставляли их у себя на воспитании до возраста. Подобные унтер-офицеры младенцы производились нередко в офицеры, а затем повышались в чинах, в весьма юном возрасте переходили с повышением в армейские полки и таким образом, особенно при сильных покровителях, достигали высших степеней в военной или гражданской службе, если первую меняли на вторую.

В семидесятых годах восемнадцатого столетия в одном Преображенском полку считалось более тысячи подобных сержантов, а недорослям не было почти и счета⁴.

Василий Иванович сам служил или числился во время рождения сына, да и после, в Преображенском полку. Ему не стоило бы никакого труда записать новорожденного сына капралом и сержантом для счета служебного старшинства.

Почему он этого не сделал, Бог знает; только едва ли вследствие незнания несправедливости и незаконности подобных кривых путей: обычаем очень уже укоренился, и добровольно от него отказаться было бы слишком невыгодною щепетильностью.

⁴ Записки Энгельгардта, 1876.

Как бы то ни было, но сын его Александр не был записан в военную службу, а между тем в нем мало-помалу обнаружилась сильнейшая склонность к военной специальности, и занятия его приняли соответствующее склонности направление.

Будучи еще семи лет от роду, он уже называл себя солдатом, а о гражданской службе не хотел и слышать. Часто, к немалому беспокойству отца и матери, боявшихся за жизнь своего единственного сына, Александр выбегал из дому на дождь и, промокнув хорошенько, возвращался домой.

Когда же озабоченные родители замечали ему, что он не бережет себя, Александр отвечал:

– Солдат должен привыкать ко всему!

Василий Иванович и Авдотья Федосьевна полагали и надеялись, что когда их сын подрастет, то страсть его к военной службе исчезнет, но с годами склонность эта проявлялась все явственнее.

Мальчик постоянно приучал свое слабое тело к воинским трудам и обогащал ум познаниями, необходимыми для военного человека. В помещичьем доме Суворовых был мезонин, заключавший в себе четыре комнаты; две занимал Александр со своим старым дядькой Степаном, а другие две – учитель. Убранство комнаты мальчика Суворова вполне соответствовало его самоподготовке к солдатской жизни.

В углу стояла кровать из простого некрашеного дерева с жестким тюфяком, кожаной подушкой и вязаным шерстяным одеялом. Над ней висел образок, украшенный высушенной вербой и фарфоровым яичком. У широкого окна, так называемого итальянского, стоял большой стол, на котором в беспорядке валялись книги, бумаги, ландкарты и планы сражений. Шкаф с книгами, глобусы, географические карты, прибитые к стене, и несколько простых деревянных стульев дополняли убранство комнаты юного спартанца.

Здесь проводил Александр Суворов большую часть своего времени один и с учителем. Последний был из духовного звания, человек умный и любознательный, учившийся вместе со своим феноменом-учеником, едва успевая догонять его в познаниях. Мальчика нельзя было иногда по целым дням силою оторвать от книги или от листа бумаги, на котором он собственно чертил планы сражений.

Отца его, Василия Ивановича, все это, вместо того чтобы радовать, сильно огорчало. Мы уже знаем, что он и его жена были против военной карьеры их сына.

Взгляды матери понятны. Военная служба сопряжена с опасностями войны, и подставлять лоб единственного сына под пулю врага удел женщин-героинь, считавшихся единицами, имена которых на вечные времена записаны на скрижалях всемирной истории.

Чтобы объяснить упорство в этом вопросе со стороны Василия Ивановича, надо вспомнить, что сам он, как мы уже говорили, не был военным человеком по призванию, а с другой – бережливость, скупость и скопидомство были характерными его свойствами.

Военная служба того времени, особенно в гвардии, требовала значительных расходов и вознаграждалась, и то не всегда, только впоследствии. Пущенные же по гражданской части молодые люди, почти мальчики, тотчас же получали некоторое, хотя незначительное, содержание, пользовались доходами и переставали быть на полном отцовском иждивении. Такая перспектива для себя самого и подраставшего сына более улыбалась Василию Ивановичу. Поэтому он и не записал своего сына при самом рождении в военную службу.

И вдруг его мечты должны были разбиваться об упрямство мальчика, всецело погрузившегося с самого раннего детского возраста в военные науки, только и мечтавшего о солдатском мундире и не хотевшего слышать о карьере приказного.

– Ну и пусть его будет солдатом! – иногда в отчаянии выражал свое мнение в частых беседах с женой о сыне отец.

Содержание сына в солдатах, он знал, не могло обойтись дорого.

– И что ты, батюшка, – запальчиво восклицала Авдотья Федосьевна, – генеральский чин получил, а ума не нажил... солдатом... такой хилый, нежный... Голову на плаху положу, а не отпущу.

В тоне ее голоса слышались решительные ноты.

– Тогда драть надо, выбить из него эту дурь. Не миндальничать с ним... Саша да Саша, такой-сякой, немазанный.

– Уж и драть... Тоже выдумал, а еще отец... Единственного сына да драть... Пусть себе забавляется, мальчик еще... Вырастет, дурь-то эта сама собой пройдет...

– Ой, жена, не пройдет, не таков малый, чую, что не пройдет...

– Каркай еще, каркай... – сердилась Авдотья Федосьевна и уходила из кабинета мужа, где обыкновенно происходили подобные разговоры.

VIII. Дикарь

Мы упомянули, что семейство Суворовых жило в довольстве. Помещичье довольство того времени измерялось, в огромном большинстве случаев, далеко не на современный денежный аршин.

Денег тогда было мало, да и нужды в них не было. Иной считавшийся богатым помещик получал со всех своих вотчин рублей пятьсот-шестьсот, и то все медными деньгами, которые, как знает читатель, не были тогда так легковесны, как современные. Если нужно было брать с собой денег, возили в мешках, на особой фуре.

Но как же было жить без денег? – спросит, быть может, меня читатель или же, что верней всего, легкомысленная читательница. В уме последней пронесутся в это время соблазнительные картины выставок гостиного двора.

В описываемое мною блаженное время денег совсем не было нужно в помещичьем быту. Винокуренный завод свой; всякая вотчина доставляла запасы: из одной вотчины везли пшено, крупу, из другой – свинину, из третьей – всякую живность, амбары и кладовые битком, бывало, набиты всяким харчем.

Одевались тоже во все свое, зимой в домашнее сукно, а летом в домашний канифас. Так шла тогдашняя жизнь.

Были, впрочем, исключения, и к таким исключениям принадлежал и Василий Иванович Суворов.

У него водились деньжонки, но их он не тратил, да и не имел нужды тратить на домашний обиход, а ссужал в трудные минуты соседей помещиков из тех, которые любили жуировать по столицам и заграничным землям, под верные закладные и часто приобретал потом заложенные имения.

Василий Иванович был скопидом-собиратель. Небольшое сравнительно хозяйство в своем новгородском именье он вел самолично, хотя, конечно, в именье был и староста. От барского глаза не укрывалось ничего.

В сущности, Василий Иванович был добрый барин, но не терпел и строго взыскивал за обман. Бывало, сойдет с крыльца и станет у притолоки, возле деревянного солдата. На барском дворе у крыльца стоял деревянный раскрашенный солдат с громадными усищами и выпученными глазами. Станет Василий Иванович возле солдата и смотрит, что делается во дворе. Глядит, идет какой дворовой, выпросил у ключника гуся или индейку.

Увидит Василий Иванович и спросит:

– Что там несешь?

Если скажет сейчас, что вот, мол, батюшка, выпросил живность, ну и ступай, ничего. А если, примером, кто, бывало, начнет прятаться или прятать птицу – беда: крепко разгневается Василий Иванович.

К господскому столу каждый день особо варился окорок ветчины для подачек. Как только господа сядут за стол, так в залу и набегут все дворовые ребяташки, в рубашонках, подчас в грязи и станут около стены, всякий с чашечкой. После горячего Василий Иванович обыкновенно обращался к дворецкому:

– Дай им, братец, подачи!

Дворецкий нарежет ломтики хлеба, положит на них по ломтику ветчины, да и наделит всех. Таковы были патриархальные нравы доброго прошлого.

Дом стариков Суворовых, несмотря на их средний достаток, был открытый, и гости из соседних помещиков, тогда в значительном числе живших по деревням, собирались часто. Это обстоятельство составляло самую мучительную сторону жизни для маленького Александра

Суворова. «Дикарь», как называл его дядька Степан, не мог выносить общества посторонних вообще, а большого общества незнакомых людей в особенности.

Эта ненормальность ребенка кидалась в глаза не только своим, но и гостям. Василий Иванович делал сыну замечания, выговоры, но совершенно безуспешно. Мальчик все больше и больше замыкался в своем внутреннем мире, питался мечтаниями и грезами своего раннего воображения. Внутренняя работа продолжалась, препятствия только вырабатывали в ребенке волю, и без того замечательно упругую, и дело двигалось своим путем.

У Василия Ивановича было слишком много занятий денежного характера, по его мнению, более важных. Он махнул на сына рукой, а посторонние, вслед за дядькой, окрестили его «дикарем». Его оставили, таким образом, в покое, к его большому удовольствию, но покой этот изредка все-таки нарушался.

Однажды летом 1742 года у Суворова собрались гости, и среди них были незнакомые со странными привычками маленького Суворова; Василий Иванович по выраженному ими желанию послал за сыном, приказывая ему явиться в гостиную. Старый дядька Степан отправился за своим воспитанником.

Он застал своего питомца, по обыкновению, лежащим на полу, среди комнаты, углубленного в рассматривание географической карты.

Мальчик то внимательно читал книгу, то сосредоточенно отмечал что-то на карте. Книгой было, обыкновенно, описание какой-нибудь войны, и мальчик по карте следил за движением тех или других войск.

– Александр Васильевич, Александр Васильевич! – окликнул его старый слуга.

Углубленный в свои занятия, мальчик не заметил вошедшего и не слышал его оклика.

– Александр Васильевич! – уже почти крикнул дядька и дотронулся рукой до плеча мальчика.

– Чего тебе? – нетерпеливо спросил молодой Суворов, нехотя отрываясь от занятия.

– Пожалуйста одеваться...

– Зачем?

– Папенька приказал вам выйти в гостиную...

– О, Господи!.. Кто там еще?..

– Гостей много... – угрюмо отвечал Степан, предвидя, что возложенная на него старым баринем миссия привести в гостиную молодого барчонка еще далека до ее осуществления.

На самом деле, Александр Васильевич как ни в чем не бывало снова обратился к прерванным занятиям и тщательно проводил на карте какую-то линию, справляясь по открытой перед ним книге.

– Александр Васильевич, извольте одеваться... – продолжал Степан, хмуря и без того сдвинутые брови. – Ишь, чулки в чернилах опять замарали... На вас не напасешься...

Мальчик, видимо, не слышал этой воркотни.

– Ну, ребенок, – продолжал разглагольствовать старик, – другие дети радуются, когда гости приезжают, все лишние сласти перепадут, а этому не надо... зарылся в книги и знать никого не хочет... О сне и об еде забыть готов... Что в этих книгах толку. Не доведут вас, Александр Васильевич, до добра эти книги... На что было бы лучше, кабы вы, как другие дети, играли бы, резвились, а то сидит у себя в комнате бука букой... Недаром все соседи вас дикарем прозвали...

Мальчик продолжал читать и отмечать прочитанное по карте. Все, что говорил Степан, ему было известно наизусть.

– Александр Васильевич, да извольте же вставать и одеваться! – строго крикнул уже старик.

Мальчик поднял голову.

– Одеваться? Зачем одеваться, ведь я одет?

– Известно, что не голые, только эта одежда будничная, домашняя, а папенька приказал вам одеться понаряднее... Слышали, чай, сказал я вам, что там гости...

– Гости... Да ведь гости приехали к папеньке и маменьке, а не ко мне...

– Любопытствуют, значит, видеть барчука... Вам бы это должно быть лестно...

– Нет, это только скучно.

– Скучно али весело, только извольте встать да одеваться; вот я вам принес и кафтанчик французского покроя с серебряными пуговицами. Пожалуйста!

– Боже мой, как это досадно!.. И на самом интересном месте, – нехотя поднялся мальчик.

Старик Степан, воспользовавшись тем, что барчук его встал, быстро снял с него широкий домашний камзолик и надел принесенный кафтан.

– Ишь волосы как растрепались, косичка на сторону совсем съехала... Бантик-то надо снова перевязывать, – ворчал слуга, поправляя прическу своего молодого барина.

Мальчик молчал, видимо решившись покориться неизбежной участи.

– А все это от этих самых книг ваших... – продолжал Степан. – Совсем вы от них растерялись, и даже в уме у вас видимо повреждение...

Александр Васильевич захохотал:

– Ты думаешь, Степан?

– Чего тут думать, и думать нечего, когда явственно... Не доведут вас книги до добра... А еще в военную службу норовите... На что военному книги? Военному артикул надобен... Собрали бы дворовых мальчишек, да с ними бы занимались.

– Ан вот ты и не понимаешь...

– И понимать не хочу.

– Из книг-то узнаю многое такое, что поважнее артикула...

– Солдату артикул нужен... – стоял на своем дядька.

– Верно, старина, но не век же свой я буду солдатом.

– Тогда и выучитесь, чему надобно.

– Тогда, Степан, уже поздно будет... Время уйдет...

– Папенька ваш и без книг в генералы вышел, – торжествующе оглядел своего барчука Степан, полагая в своем уме, что против этого аргумента ему нечего будет возразить.

– Генерал генералу рознь... Да что с тобой толковать, ты этого не поймешь.

– Где уж мне понимать... Вы, вишь, умнее стариков, – обиделся Степан. – Ну, да ладно... Пожалуйста вниз, да будьте посмелее, поразговорчивее... Утешьте папеньку...

– Хорошо, хорошо, только ты здесь не убирай ни карты, ни книги, пусть лежат, как лежали.

– Не дотронусь до них, до проклятых. Кабы моя воля, а их превосходительство бы приказали, в огонь бы я их побросал все.

Александр Васильевич стал спускаться в сопровождении Степана по лестнице. Достигнув последней ступени, он остановился. Из гостиной, находившейся тотчас за довольно большой залой, слышался говор множества голосов.

– Идите же, идите... – понукал его сзади Степан.

– Иду, иду... – с какой-то мукой в голосе отвечал мальчик.

Они действительно сделали несколько шагов, вошли в залу и уже стали приближаться к полуотворенной двери гостиной. Шум голосов сделался еще явственнее. Мальчик снова остановился.

– Боже, сколько народу! – вдруг воскликнул он и, быстро вырвавшись от загордившего ему путь Степана, стремглав бросился на двор, а потом в сад и в поле.

Дядька несся за ним, насколько позволяли ему старые ноги. Спасаясь от преследования своего аргуса, молодой Суворов с ловкостью белки карабкался на деревья и прятался в их

густых ветвях. Заметив, что дядька удалялся в сторону, мальчик спускался на землю и убежал в другую часть сада.

В этой погоне прошло много времени. Из сада мальчик выбежал в поле, быстро распутал ноги у одной из пасшихся на траве лошадей, вскочил на нее и умчался во всю прыть без седла и уздечки, держась за гриву лошади, прямо на глазах совсем было догнавшего его Степана. Последний охал и кричал, но эти крики разносил ветер, и оставалось неизвестно, слышал ли их дикарь-барчук. Степану пришлось идти к старому барину и шепотом докладывать ему на ухо о случившемся.

Василий Иванович пожал только плечами. Он уже привык к выходкам своего «неудачного детища», как называл он своего сына Александра.

IX. Питомец Петра Великого

Среди собравшихся гостей был и товарищ по службе и друг Василия Ивановича Суворова артиллерийский генерал Авраам Петрович Ганнибал, негр, когда-то купленный императором Петром.

Из бедного дикаря великая душа великого государя сотворила полезного государственного деятеля. Петр дал Ганнибалу отечество, семью, богатство и, что важнее всего, образование, как средство верной службою доказать привязанность к своему благодетелю и любовь к новому отечеству.

– Что случилось? – спросил Авраам Петрович, видя, что Василий Иванович нахмурился после доклада Степана.

Гости вели общий разговор, и оба старика сидели в стороне.

– Ах, дорогой друг, беспокоит меня очень мой Саша, мы с женой ночей недосыпаем, все думая, что с ним делать.

– Что же он? – спросил генерал.

Он знал и любил мальчика, и с ним одним Саша не дичился, от него одного не убегал при встрече.

– Обязанность моя, как отца, великая обязанность приготовить для отечества в сыне верного и полезного слугу, как завещал нам великий Петр.

– Это хорошо, я не вижу, однако, о чем беспокоиться... Насколько я его знаю, Саша ни зол, ни ленив и, кажется, не имеет дурных наклонностей...

– Этого, конечно, нет, нечего и Бога гневить, но я должен переделать его натуру, а этого мне не удается... Вот что сильно беспокоит меня...

– Но зачем же переделывать, если мальчик хорош и так? – недоумевал Ганнибал.

– Ах, ты не все знаешь о нем... Он, нечего и говорить, мальчик добрый, послушный и не только не ленив, а даже чересчур прилежен...

– В этом я не вижу еще беды.

– Но он слабого сложения, – продолжал Василий Иванович, – и я ежеминутно опасаясь за его здоровье и даже за самую жизнь... Он совсем не бережет себя и, несмотря ни на какую погоду, бегаёт по полям и лесам, купается даже в заморозки.

– Ого, из него, в таком случае, выйдет прекрасный солдат! – воскликнул генерал.

– Вот этого-то я и не хочу...

– Что так?

– Говорю я тебе, что его слабое сложение служит непреодолимым препятствием для военной карьеры, о которой он только и бредит.

– Бредит, говоришь... Это хорошо...

– Для тебя, может быть, и хорошо, – сердито сказал Василий Иванович, – но ты забываешь, что Саша у меня один сын... Поговори еще и с Авдотьей Федосьевной, столкнись с ней...

– Коли это призванье мальчика, так препятствовать нельзя, это ты сам хорошо понимаешь, поймет и она, как мать, любящая своего сына.

– Толкуй, толкуй... Призванье... Задам я ему это призванье...

– Погоди, вот он вернется, я пройду к нему, поговорю с ним и скажу тебе, что я думаю.

На этом разговор был покончен, и хозяин дома и его друг вмешались в общий разговор.

Часа два спустя молодой Суворов вернулся, о чем было доложено Василию Ивановичу, а последний сообщил это известие генералу Ганнибалу. Тот, верный своему обещанию, поднялся наверх и застал мальчика снова лежащим на полу и углубленным в книгу и карты. Он не слышал, как вошел неожиданный гость.

– Здравствуй, Саша! – сказал генерал после некоторого молчания.

Мальчик, узнав знакомый голос, поспешно вскочил на ноги и смущенный стоял перед Авраамом Петровичем.

– Разве так здороваются со старыми приятелями! – шутливо сказал генерал.

Саша подошел к гостю и поцеловал, по тогдашнему обычаю, у него руку.

– Вот так, голубчик. Ну, что ты, как поживаешь, как твоё здоровье?

– Слава богу...

– Как же твой папенька говорит, что ты слабого здоровья, – продолжал он, оглядывая мальчика с головы до ног, – худенек, правда, да не в толщине здоровье...

У мальчика заблестели глаза, за минуту смущенное лицо его озарилось улыбкой.

– Не правда ли, я тоже говорю, а папенька с маменькой только и твердят, что я слабого сложения... Затем-то папенька и хочет отдать меня в штатскую службу.

– Это не беда... И в гражданской службе можно быть полезным отечеству.

– Быть может, но эта служба не по мне...

Облако печали снова опустилось на его лицо.

– А ты небось хочешь быть солдатом?..

– Хочу, очень хочу...

– Ишь как глазенки разгорелись, – взял генерал Ганнибал за подбородок мальчика. – Посмотрим, посмотрим... А теперь покажи-ка, чем ты занимаешься. Что это у тебя за книги да бумаги?

Мальчик стал показывать и объяснять. Старик был изумлен.

– Да неужели, брат, ты все это читал?

– Все и даже по несколько раз.

– Полно, так ли?

– Спросите...

Авраам Петрович взял наудачу одну книгу. Книга оказалась «Жизнь великих людей» Плутарха. Старик стал экзаменовать мальчика. Последний отвечал не запинаясь на все вопросы генерала.

– Молодец, брат, молодец, – сказал последний, – в твои лета дворянчики у нас еще за букварями сидят и то не осият, а ты любого старого служаку за пояс заткнешь. Молодец, говорю, молодец... И не скучно тебе корпеть за книгами?

– Напротив, я готов сидеть над ними, не отрываясь, целые дни.

– А это кто же тебе чертил карты?.. Атаку крепости, сражение при Рокруа, Полтавскую битву...

– Это чертил я сам.

– Ну?

– Ей-богу...

– Верю, верю... – Генерал Ганнибал обнял ребенка и поцеловал его в лоб. – Если бы, – сказал он, – и наш великий Петр Алексеевич, упокой его душу в селениях праведных, – старик истово перекрестился, – увидел твои работы, то, по своему обычаю, такой же, как и я теперь, поцеловал бы тебя в лоб... Учись, учись, из тебя прок будет...

– Но папенька запрещает мне всем этим заниматься, маменька тоже... Они не хотят, чтобы я был военным, – сквозь слезы проговорил Саша.

– Ничего, с папенькой да с маменькой мы как-нибудь поладим... Положись на меня...

Мальчик весь засиял. Стремительно бросился он на шею к генералу Ганнибалу, стал целовать его руки.

– Как вы добры! Я всю жизнь буду вам благодарен, если вы уговорите папеньку с маменькой и они пустят меня в солдаты!

В это время в комнату вошел Степан с вычищенным и заглаженным после прогулки барчука платьем и чистым бельем. Мальчик бросился на шею старика.

– Что случилось? – изумленно спросил старик, все еще сердитый на своего питомца за недавнюю провинность.

– Радость, Степан, радость... Но не теперь, после узнаешь... А теперь давай одеваться, я сделаю для тебя удовольствие и принаряжусь хорошенько...

Авраам Петрович с любовью посмотрел еще раз на бойкого мальчика и вышел, промолвив на прощанье:

– До свиданья, Саша, я жду тебя внизу...

– Хорошо, хорошо...

– Так теперь пойдете в гостиную? – спросил обрадованный Степан.

– Пойду, пойду...

– И не убежите?..

– Нет, теперь не убегу.

Мальчик так спешил одеваться, что старый дядька не успевал прислуживать.

– Тише, тише, ишь заторопился, видно, генерал-то вам задал добрую гонку...

– А вот и ошибся, он похвалил меня.

– Похвалил! Ну, кажись бы не за что... Новый кафтан разорвали, хорошо еще что по шву... Все перепачкали.

– Не за то он похвалил меня, а за мое ученье... за книги...

– За книги... – протянул дядька. – Будь по-вашему, а по-моему, так лучше уж платье пачкайте, а книги бросьте... Здравей.

– Ты ничего не понимаешь.

– И понимать не хочу... Но вот вы и готовы...

– Так я иду...

– Смотрите же, проходите прямо в гостиную и хорошенько всем шаркайте ножкой.

– Хорошо, хорошо...

Подозрительный Степан, однако, не удовольствовался этим обещанием своего барчука, а по пятам проводил его до дверей гостиной, готовясь схватить его в охапку при малейшем поползновении к бегству. Молодой Суворов поборол, однако, свою робость и довольно храбро предстал перед гостями, раскланялся и даже отвечал умно и толково на заданные ему некоторыми из них вопросы.

После обеда большинство гостей отправилось отдыхать в отведенные им комнаты, иные ушли гулять, а Авраам Петрович удалился с хозяином в кабинет Василия Ивановича. Там уселись они в покойные кресла.

– Говорил я, дружище, с твоим сыном, видел, чем он и как занимается...

– Что же, успел разубедить его, сказать ему, что для него военная служба могила?

– Да я и не думал разубеждать его, не думал говорить ему, прости, старый друг, таких нелепостей...

Василий Иванович с удивлением вскинул на него глаза.

– То есть как нелепостей!

– Да так... Ребенок здоров, силен, вынослив... Дай бог, чтобы все дети пользовались таким цветущим здоровьем, как твой сын... Притом он умница... Меня, старого, в тупик поставил... Никогда не видал я такого необыкновенного ребенка... Тебя можно поздравить, Василий Иванович, у тебя редкий сын...

– Полно, дружище...

– Я тебе говорю не любезность, а правду... Правду буду говорить и дальше... Как отец, ты имеешь право распоряжаться судьбой твоего сына, но, как умный человек, ты же должен подчиняться его наклонностям... Как верный сын отечества и верный слуга царевый, ты обязан способствовать развитию необыкновенных способностей мальчика, хотя бы оно было противно твоим планам и желаниям... Твой сын будет великим полководцем.

– Далеко загадал, дружище.

– Я говорю это с полным убеждением... Я тебе говорю серьезно... Ты знаешь меня довольно... Я не буду шутить там, где идет дело о сыне моего старого друга. У тебя, повторяю, необыкновенный сын... На двенадцатом году он знает более, нежели многие из наших генералов... На нем почивает благословение твоего крестного отца – бессмертного Петра, которого Господь Бог сотворил нарочно для пересоздания России... В твоём сыне Александре так же открылся гений, как и в младенце Петре...

Слова эти сильно подействовали на Василия Ивановича, так же, как и Ганнибал, благоговешного перед памятью своего царственного крестного отца. Он, видимо, был тронут, но молчал.

– Заклинаю тебя тенью великого Петра, – продолжал между тем Авраам Петрович, – подчинись судьбе и дозвожь твоему сыну идти путем, видимо предназначенным ему Богом. Быть может, Всевышний назначил его, чтобы исполнить хоть часть замыслов нашего усопшего благодетеля – упрочить силу и благоденствие России новыми победами, новыми завоеваниями... Умоляю тебя, согласишься...⁵

Старик умолк. Василий Иванович встал с кресла и стал большими шагами ходить по кабинету. По его лицу была видна происходившая внутри его борьба. Все сказанное его другом, с одной стороны, льстило его родительскому самолюбию, а с другой – совсем противоречило его планам. Он хотел бы видеть сына на доходном месте подьячего, чтобы быть уверенным, что собираемые им имения не пойдут прахом.

Генерал Ганнибал стал следить глазами за своим другом, понимая, но не догадываясь о подробностях этой борьбы, но чувствуя, что она окончится чем-нибудь решительным.

Вдруг Василий Иванович остановился и захлопал в ладоши. На этот обычный для того времени зов явился слуга.

– Позови сюда барыню.

Слуга скрылся, произнеся лаконично: «Слушаю».

⁵ Булгарин Ф. В. Суворов.

Х. Суворов-солдат

Через несколько минут в кабинет тихо вошла хозяйка дома, Авдотья Федосьевна.

Это была худая, высокого роста женщина – сын ростом был, видимо, не в нее, а в Василия Ивановича, который был на голову ниже своей жены. Худоба ее происходила не столько от сложения, сколько от болезни. Бледное, морщинистое лицо почти восковой прозрачности и постоянный лихорадочный румянец на щеках или, скорее, на выдавшихся вперед скулах говорили о неизлечимости недуга, медленно, но упорно подтачивающего жизнь этой женщины. Одетая она была в темное шерстяное платье и, несмотря на теплый вечер, куталась в ковровую шаль.

– Ты звал меня, Василий Иванович?

– Звал, Дуня, звал...

– Что тебе?

– Дело есть, присядь...

– Дело? – тревожно спросила Авдотья Федосьевна и как-то бессильно опустилась в одно из кресел, оставив на мужа вопросительно-недоумевающий взгляд.

– Дело, Дуня, дело... Насчет Саши... Вот его превосходительство, сама, чай, знаешь, какие мы с ним закадыки, уверяет, что я обязан пустить мальчишку в военную службу... Не смею-де перечить его хотению...

Авдотья Федосьевна перевела свой взгляд с мужа на генерала Ганнибала. В этом взгляде уже светился испуг.

– Верить не хочу, Авраам Петрович, чтобы вы по дружбе вашей к Василию Ивановичу желали гибели его сыну... Не перечить его хотению! Да мало ли что дитя иное хочет... Иной вот на крышу норовит влезть, так, по-вашему, и пускать... Пошутили вы со старым другом, а он, видно, всерьез принял...

– Ваш муж, сударыня, не так выразился, – отвечал генерал Ганнибал, – не говорил я не перечить хотению ребенка, ни в жизнь такой нелепости не скажу...

– Я это знала; видишь, ты сам напугал, Василий Иванович, – по женской привычке прервала, обращаясь к мужу, речь генерала Авдотья Федосьевна.

– Ты сначала его дослушай, – заметил тот.

– А говорил я действительно вашему супругу, что грех большой на душе его будет, если он воспрепятствует сыну своему следовать его внутреннему призванию, быть военным. Что лишит он этим верного слуги своего отечества, что, по-моему, ваш Саша предназначен для высокого удела великого полководца, который в будущем покроет неувыдаемыми лаврами как себя и свою фамилию, так и Россию. Я говорил с ним и вынес убеждение, что он не только не хочет, но по натуре своей не может ничем быть иным, как солдатом.

– Вот видишь, матушка! – вставил Василий Иванович, видя, что его друг замолчал.

– Солдатом... Саша – солдатом... Такой хилый да болезненный, да он недели не вынесет в солдатской службе! – всплеснула руками Авдотья Федосьевна.

– Поверьте, сударыня, что ваш сын для мальчика его лет отличается более чем крепким здоровьем, что, приучая себя сам к сырости и холоду, дождю и снегу, он, как кажется, ни разу не был болен серьезно.

– Бог милостив, ваше превосходительство, даже не хварывал, слава Создателю...

– Вот видите!

– Но все же он былиночка.

– Сухие да тонкие самые выносливые люди.

– Кабы вашими устами да мед пить.

– И будете, да не мед, а такую сладость вкусите, коли послушаетесь, что помянете добрым словом меня, старика. Ваш муж тоже был против, но, как кажется, убедился моими речами... На совет он вас позвал... Значит, от вас теперь зависит счастье вашего сына, его слава вместе со славой отечества... Будьте матерью, любящей свое отечество... В древности были матери, которые, провожая сына на войну и подавая ему щит, говорили: «С ним или на нем», то есть возвращаясь победителем или мертвым... От вас требуют не этого, вас просят лишь не мешать счастью сына, предоставить ему идти дорогой, которую ему, младенцу, указал сам Бог...

– Ох, боязно, ваше превосходительство, не вынесет...

– Канцелярской духоты действительно не вынесет и захиреет хуже, – заметил генерал Ганнибал. – И если вести его по гражданской службе, то надо сейчас везти его в Петербург или Москву, чтобы в несколько лет подготовить, он сам-то ведь занимается только военными науками, в солдаты еще года два-три подождать можно... Пусть себе учится да живет при вас и отце...

– Это, дружище, ты говоришь правду, я сам подумывал к осени отвезти его в Питер, там у меня есть грамотей на примете, приказная строка такая, что лучше и не надо.

– К осени... Уж и везти... – упавшим голосом произнесла Авдотья Федосьевна.

Василий Иванович и Авраам Петрович значительно переглянулись друг с другом. Авдотья Федосьевна несколько минут сидела в глубокой задумчивости.

– Что же, Василий Иванович, – начала она после некоторого молчания, – если это, может, и впрямь, как говорит его превосходительство, произволение Божие, пусть идет в военную службу...

– Добро, матушка, добро, я-то уж решил так, за тобой было дело... Меня старый приятель до слез пронял...

– Так пусть будет так, – сказала Авдотья Федосьевна.

– Аминь!.. – произнес генерал Ганнибал.

Василий Иванович встал, раза два прошелся по кабинету и захлопал в ладоши.

– Позовите сюда Сашу.

Через несколько минут мальчик, весь бледный и трепещущий, появился на пороге кабинета. Его чуткое детское сердце угадывало, что здесь сейчас решится его судьба. Он обвел своими умными глазами отца и мать и остановил взгляд на Аврааме Петровиче. В этом взгляде смешивались и страх, и надежда.

Василий Иванович придал своему взгляду строгое выражение и сказал:

– Иди сюда.

Ребенок приблизился.

– Ты у меня один сын, – заговорил снова Василий Иванович, – на тебе я основал все свои надежды и к поддержке моего рода и честного имени...

Голос старика дрогнул.

– И не ошибетесь, папенька! – просто отвечал ребенок.

Василий Иванович переглянулся с Ганнибалом. Последний улыбнулся и одобрительно кивнул головой.

– Я не раз говорил тебе обо всех трудностях и опасностях военной службы... Повторяю тебе еще раз, что ты едва ли вынесешь ее при твоём сложении и здоровье... Но ты не слушаешь отца и упорствуешь...

– Папенька... – начал было Саша, но Василий Иванович прервал его:

– Твоя речь впереди. Послушай сначала, что я скажу тебе. При моем состоянии и при помощи моих друзей и приятелей я мог бы доставить тебе видное место в статской службе, где бы ты мог скоро отличиться...

– Я нигде не стану служить, кроме военной... – сквозь слезы отвечал ребенок.

В тоне его голоса слышались одни решительные ноты.

– Ты не понимаешь дела. Несмотря на твои молодые годы, ты очень много потеряешь в военной службе. Если бы я назначал тебя к этой службе, то записал бы в полк при самом рождении, это я мог бы сделать легко, тогда шестнадцати лет, явившись на службу, ты был бы уже офицером гвардии и мог бы выйти в армию капитаном или секунд-майором... Теперь же тебе, знай это, придется начинать с солдата.

– Да иначе я бы и не согласился начинать службу! – отвечал Саша.

– Не говори глупостей... Солдатская служба – тяжелая служба.

– Что делать! Но я должен начать с солдата, так как хочу быть фельдмаршалом...

Этот ответ так поразил Василия Ивановича, что он отступил на шаг. Авдотья Федосьевна усиленно заморгала глазами, на которых появились слезы. Были ли это слезы радости или печали – неизвестно.

– Молодец! – воскликнул генерал Ганнибал. – Молодец, Саша. Покойный благодетель наш Петр Великий говаривал всегда: «Плох тот солдат, который не хочет быть генералом».

– Да понимаешь ты, мальчик, что ты говоришь? – спросил пришедший в себя Василий Иванович.

– Очень хорошо понимаю, папенька... Первый в свете государь Петр Великий начал службу с простого солдата... Не хотите меня видеть фельдмаршалом, зароете в могилу простым писцом.

Это было произнесено таким пророческим тоном, что даже Василий Иванович несколько раз учащенно моргнул глазами, сбрасывая с них навязчивые слезы. Авдотья Федосьевна заплакала.

– Благослови, Василий Иванович, – сказал дрожащим от волнения голосом Авраам Петрович.

– Господи, научи меня, как поступить мне? Что сделать мне, что сделать? – возвел очи к небу Василий Иванович.

– Благослови, папенька, и вы, маменька! – тоном, полным мольбы, произнес Александр. Василий Иванович взглянул на жену и после некоторой паузы произнес:

– Благословляю, благослови и ты, Дуня.

Ребенок бросился к ногам отца, а затем перешел на грудь рыдающей матери. Будущность сына была решена.

Вскоре после этого разговора в кабинете Александр Суворов был записан в Семеновский гвардейский полк рядовым. Но в течение еще трех лет он находился в родительском доме.

Авдотья Федосьевна, однако, недолго радовалась на своего сына. Через год с небольшим после этого она умерла, подарив мужу дочь.

Это было первое тяжелое горе мальчика, чувствовавшего себя после благословения, данного ему родителями на любимый род деятельности, совершенно счастливым.

Куда девалась даже его прежняя застенчивость?

Он охотно стал выходить к гостям, и дядьке Степану не приходилось стеречь его и ловить на дворе и в поле. Чтение и занятия он продолжал с прежним рвением, изучая Плутарха, Корнелия Непота, деяния Александра Македонского, Цезаря, Ганнибала и других знаменитых полководцев древности.

Кроме того, он познакомился с походами Карла XII, Монтекукули, Конде, Тюрения, принца Евгения, маршала Саксонского и других. Из военных наук военная история, конечно, больше всего нравилась маленькому Суворову, и она одна могла завлечь его в дальнейшие занятия и дать сильный толчок его военному призванию. Из почти современных ему героев ему особенно нравился Карл XII – этот образец неустрашимости, смелости и быстроты. Такие люди сильно действуют на воображение, следовательно, приходится по детскому вкусу больше всяких иных.

Но к чести не по летам зрелого умом Александра Суворова, он вскоре понял, что голова его любимого героя несколько экзальтирована и не совсем в порядке, что твердость его скорее может быть названа упрямством и что вся общность его военных качеств соответствует больше идеалу солдата, нежели полководца.

Этим объясняется изучение Суворовым наряду с походами Карла XII и методических записок Монтекукули, строящего все на благоразумии и расчете.

Историю и географию он изучал по Гюбнеру и Ролленю, а начала философии по Вольфу и Лейбницу. Артиллерию и фортификацию преподавал ему сам Василий Иванович, который был знаком с инженерною наукою больше, чем с другими, даже перевел на русский язык Вобана.

Боготворя отца, давшего ему наконец согласие, от которого должны были осуществиться все его заветные мечты, сын прилежно изучал переведенную отцом книгу. Он знал всего Вобана почти наизусть.

Кроме военного, молодой Суворов с самых ранних лет получил и религиозное образование. Он отличался набожностью и благочестием, любил сидеть над Библией и изучил в совершенстве весь церковный круг.

Как у всякого самоучки, образование молодого Суворова не отличалось ни строгою системой, ни методом. Если Василий Иванович, сам малообразованный, не мог руководить образованием сына, то он не отказывал ему в книгах, предоставив и свою библиотеку, и приобретая книги покупкою.

Пророчество слов его друга генерала Ганнибала звучало в его ушах и побеждало его скупость. Если его сыну назначена была такая высокая доля, то нельзя было жалеть средств для ее возможного осуществления. Так рассуждал Василий Иванович и скрепя сердце выдавал деньги на книги и карты.

Утешался Василий Иванович еще и тем, что сын бережно обращался со своими сокровищами – книгами и при каждой присылке их из Петербурга или Москвы несколько дней ходил весь сияющий.

Подрастая, молодой Суворов все более и более жаждал начать действительную военную службу, выражая это желание отцу, но не хотел огорчать его настойчивостью.

Наконец это вожделенное время настало.

В Петербурге года за два перед тем совершилось событие, радостное для всех приверженцев Петра Великого, – на российский престол вступила его дочь Елизавета Петровна. Василий Иванович, в числе других «птенцов гнезда Петрова», не захотел оставаться дома в бездействии и опять вступил на действительную службу, принятый в нее в чине генерал-майора.

Сын его Александр поступил рядовым в тот полк, в который был записан. Мечта мальчика исполнилась, и он был настоящим солдатом. Ему было от роду пятнадцать лет.

XI. Петербург елизаветинского времени

Петербург в царствование императрицы Елизаветы представлял одни противоположности.

Из великолепного квартала вы вдруг переходили в дикий и сырой лес; рядом с огромными палатами и роскошными садами стояли развалины, деревянные избушки и пустыри.

Границей города в то время считалась река Фонтанка, левый берег которой представлял предместья, от взморья до Измайловского полка – «Лифляндское», от последнего до Невской перспективы – «Московское» и от Московского до Невы – «Александро-Невское». Васильевский остров по 13 линию входил в состав города, а остальная часть, вместе с Петербургскою стороною, по речку Карповку, составляла тоже предместье. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож.

Первый деревянный мост через Фонтанку был Аничков, сделанный в 1715 году; название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной полковником М. О. Аничковым позднее, в 1726 году. Аничков мост был подъемный, и здесь был караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. В то время, к которому относится наш рассказ, Аничков мост перестраивался и утверждался на сваях.

Первый исторический мост в Петербурге был Петровский, на речке Ждановке – он соединял Петербургский остров с крепостью, и затем, уже в 1739 году, стало вдруг в Петербурге сорок мостов. Все эти мосты были тогда безымянные.

Где стоит теперь дворец великого князя Сергея Александровича (бывший дом князей Белосельских), в елизаветинское время находился дом князя Шаховского; рядом с ним было Троицкое подворье, затем дом гоф-интенданта Кормедона, купленный Бироном, и при императрице Елизавете конфискованный и отданный духовнику императрицы Дубянскому. Далее по Невской перспективе, по Морской и Миллионной, стояли дворцы и дома вельмож.

Жизнь в Петербурге была в то время, а особенно во время царствования императрицы Анны Иоанновны и кратковременного правления Анны Леопольдовны, далеко не безопасна. Разбои и грабежи были сильно распространены в самой столице. В лежащих кругом Фонтанки лесах укрывались разбойники, нападая на прохожих и проезжих.

Полиция обязала владельцев дач по Фонтанке вырубить леса: «дабы вора́м пристанища не было»; то же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге, по тридцать сажень в каждую сторону, «дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападения».

Были грабежи и по Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих «зол». Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Самсония, в Казачьей слободке, состоящей из 22 дворов, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободку на другое место.

Бывали случаи грабительства в центре Петербурга, которые названы «гробокопательством». Так, в одной кирхе оставлено было тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирху, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскали и казнили смертью.

Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но они не достигали цели. Разбойников преследовали строго, сажали живых на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались.

При Анне Иоанновне начальником тайной канцелярии был Андрей Иванович Ушаков. Клеврет Бирона беспощадно проливал человеческую кровь, с бессердечностью палача, при-

сутствуя лично при жесточайших истязаниях. Наказывал он не только престарелых и несовершеннолетних, но и больных, даже сумасшедших.

В царствование Анны Иоанновны одних знатных и богатых людей было лишено чести, достоинств, имений и жизни и сосланных в ссылку более 20 000 человек. Петербург кишел доносчиками, которые нагоняли такой страх на жителей, что многие затворялись у себя в домах и боялись показаться на улице, а особенно посещать сборища.

Понятно, что с воцарением Елизаветы Петровны все вздохнули свободнее, надеясь, что эта «дщерь Петра» водворит порядок и спокойствие, которые сделают жизнь петербургских обывателей хотя мало-мальски сносною.

Надежды оправдались. Елизавета твердою рукою взялась за кормило власти, но в течение ее царствования Петербург все еще представлял описанную нами картину.

В этот-то полуграндиозный и полупустынный, полугерманский и полудиккий Петербург прибыли отец и сын Суворовы.

Стояло начало декабря 1745 года. Василий Иванович хотя и состоял уже в действительной службе, зачисленный в нее вскоре после воцарения императрицы Елизаветы Петровны, но, по обычаю того времени, только числился в ней, проживая в деревне. Он и теперь прибыл лишь для того, чтобы самому сдать сына и при случае удостоиться чести лицезреть монархиню, дочь его благодетеля и крестного отца.

Имея в Петербурге много знакомых и приятелей, он, однако, не хотел стеснять их наездом, а остановился в домике священника ямской Предтеченской церкви Иллариона Андреева, брата священника одного из приходов Новгородской губернии, к которому принадлежала суворовская вотчина. Дом этот находился недалеко от казарм Семеновского полка, в котором должен был служить Александр Суворов.

Василий Иванович решил оставить сына на жительство у попа, зная, что постоялец для дома священника будет далеко не лишним, так как доходы духовенства того времени были очень ничтожны. Служители алтаря буквально перебивались с хлеба на квас. Всякий лишний грош, а не только пятак представлял уже большую поддержку для убогого домашнего хозяйства столичного священника. Отец Илларион бедствовал едва ли не более других, так как принадлежал к пастырям церкви, не дававшим поблажки своим духовным детям, а потому последние не очень-то несли ему «дары», составлявшие главное подспорье в священническом хозяйстве. Незадолго же до прибытия Василия Ивановича с сыном в Петербург над домом отца Иллариона стряслась еще большая беда. Он уже несколько времени находился в непосильных трудах в Александровском монастыре, куда был отправлен на два года. Встретившая приезжих попадья Марья Петровна, чуть не умиравшая с голода с четырьмя детьми, мал мала меньше, со слезами на глазах рассказала им все случившееся с ее мужем.

Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство поражало грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквях. Картины просвещения и нравственности были самые темные. Не отличался незлобивым нравом и отец Илларион.

– С год тому назад, – так рассказывала Марья Петровна, – повздорил отец Илларион с капитаном Мамонтовым, Иваном звать; стал его муж упрекать в беспутстве, тот не вынес, да его и обругай... Отец Илларион того пуше ругнул его благородие, дело было в церкви, за заутреней... Кончилась служба, капитан-то у церкви моего-то ожидал... Опять сцепились, до самого дома переругивались, а у ворот капитан-то отца Иллариона и толкни... Мой-то, горяч нравом, ой горяч, и рассвирепей... Такую потасовку капитану задал, что тот едва ноги от ворот уволок.

– Ну, что же дальше? – спросил Василий Иванович, с аппетитом потягивая с дороги теплый сбитень.

– Суд да дело пошло... В духовном правлении моему-то плетей изрядную толику всыпали, да в Александровский монастырь под начало послали.

– Это, матушка, дело не хвалю.

– Какой уж хвалить, ваше превосходительство... С малыыми ребятишками я одна осталась... Спасибо прихода не лишилась, из соседней церкви отец Николай, на покое при сыне живет, службу справляет, да и то беда, подаениями добрых людей перебиваюсь.

– Ну, вот я тебе постояльца привез, сына, солдат он; да в казарме ему спать не сподручно, горенку-то чистую найдешь?

– Найду, ваше превосходительство, как не найти... В доме-то четыре горенки, любую пусть выбирает их благородие.

– Выберем, выберем, время терпит... По твоему горькому сиротству плата тебе будет два рубля в месяц с услугой, муку, крупу, живность из деревни присылать буду... Коли хочешь – по рукам, коли нет – от ворот поворот.

– Как не хотеть, благодетель, ваше превосходительство! – Марья Петровна повалилась в ноги Василию Ивановичу.

– Вставай, вставай, кажи горницы... – встал из-за стола Василий Иванович и в сопровождении Марьи Петровны и сына, уже допившего свой сбитень, начал обозревать маленький одноэтажный домик отца Иллариона.

Он состоял из четырех комнат и прихожей, кухня отделялась широкими сенями. В эти сени вела одна дверь из прихожей, а другая из угольной комнаты, занимаемой спальней. Последняя была наглухо заколочена. Выбор Василия Ивановича остановился на этой задней комнате, он приказал открыть дверь в сени и заколотить ведущую в другие горницы.

– Вот и будет особняк, ни ты им мешать не будешь, ни они тебе, – обратился он к сыну. Тот отвечал покорным наклоном головы.

Все его мысли были о том близком уже теперь дне, когда он наконец станет настоящим солдатом.

– Так вы все и сделайте... Сегодня да завтра, за два дня исподволь... Нынешнюю ночь уж мы переночуем в большой горнице, – сказал Василий Иванович Марье Петровне.

– Слушаю, ваше превосходительство, все будет сделано в точности.

Четверо ребятишек, два мальчика и две девочки, всюду по пятам следовали за матерью, держась за ее юбку. Довольный покорностью хозяйки-матери, Василий Иванович раздал им по грошу.

– Нате вам, пострелята, на сласти...

– Поцелуйте ручку у дедушки, – сказала Марья Петровна. Дети отвечали дружным ревом.

– Не надо, не надо... – замахал рукой старик Суворов и снова возвратился, в сопровождении Марьи Петровны и сына, в большую горницу.

– Еще горяч... – тронул он рукой дорожный чайник со сбитнем и налил себе стакан. – С кибиткой-то управились? – бросил он Марье Петровне.

– Работнице я велела помочь... Управится...

– Работницу удержишь? – подозрительно спросил он.

– Такая же, как и я, бездомная сирота, из-за хлеба, – потупилась попадья.

ХII. На новоселье

С уборкой комнаты поспешили. Уже на другой день Александр Суворов с присущей ему аккуратностью расставлял на приделанные к одной из стенок комнаты полки своих единственных друзей – книги.

Отец уехал посещать петербургских сослуживцев и знакомых.

Комната молодого солдата вышла очень уютной. Стены были начисто вытерты – они были бревенчатые, без обоев, пол чисто вымыт. Простой деревянный стол, три табурета и деревянная постель с тюфяком из соломы, кожаной подушкой и вязаным одеялом, привезенным с собою из деревни, составляли все ее убранство.

Пока в Петербурге гостил Василий Иванович, постель предназначалась для него, сын же должен был спать на полу, на сделанном сеннике, под дорожным тулупчиком. Сенник был сбит так, что к изголовью несколько возвышался.

Василий Иванович вернулся в радужном настроении духа.

– Уж ты и на новоселье? – удивился он, входя в отворенную дверь комнаты сына.

– Точно так, батюшка, устраиваюсь, – отвечал тот.

Старик разоблачился от верхнего платья и присел к столу.

– А я тебе радость привез, Саша, – сказал он после некоторого молчания.

Александр Васильевич в то время вынимал из сундука несколько книг, чтобы поставить их на полку.

– Какую? – спросил он, обернувшись и держа книги в руках.

– Можно освободиться тебе от строевой службы...

Мальчик даже выронил книги, которые и полетели на пол.

– Что вы, батюшка!

– Не наверное, а обещали... Случай такой вышел, приятель один, бывший сослуживец, властный теперь человек... Поведал я ему свое горе, что опоздал записать тебя в службу и что вот теперь тебе придется испытать настоящую солдатскую ляжку...

– Настоящую, настоящую, то-то и хорошо... – прервал отца Александр Васильевич.

– Помолчи, твоя речь впереди будет, – остановил его Василий Иванович.

Мальчик замолчал и стоял уже весь бледный, и на глазах его дрожали слезы.

– Этому горю помочь можно – это приятель-то мой мне говорит. Он как по письменной части... Это про тебя-то... Дока, у меня он во всем дока – похвастался я... Тогда его можно будет пустить по письменной части... в канцелярию полка, до офицерского чина. Слышь, парень?

Мальчик не отвечал и стоял, как бы приросший к месту.

– И долго, говорю я ему, ваше высокопревосходительство, придется в нижних чинах быть? Нет, говорит, долго не задержим... Услужим для приятеля... Вот как! Слышишь, парень?

Александр Васильевич молчал, но слезы ручьями текли по его бледным щекам.

– Да ты никак ревешь? – вдруг воскликнул Василий Иванович, только что заметивший впечатление, произведенное на сына его речью. – С радости, что ли?

– Батюшка... Я хочу быть солдатом... Ведь вы же знаете... – повалился сын в ноги сидевшему на табурете отцу.

Василий Иванович встал и поднял его.

– Встань, встань, какой же ты солдат, коли ревешь, как баба.

– Я хочу быть солдатом, – продолжая всхлипывать, говорил мальчик.

– Ну и будешь солдатом... Мундир, амуниция, все такое. Только легче... Писать-то ты мастак...

– Какой я, батюшка, мастак, – сквозь слезы ответил Александр Васильевич, – коли я пишу точно курица бродит... Разве так писаря пишут...

– Обвыкнешь... Все же это легче, чем в строю... В строю ой тяжела солдатская служба... Слышь, парень, так тяжела, что месяца не выживешь.

– Выживу, Бог милостив, только простите, батюшка, я в строй, а в писаря я не хочу.

– Что-о-о?! – вытаращил на него глаза Василий Иванович.

Слезы вдруг высохли на глазах мальчика, и в них загорелся огонь бесповоротной решимости.

– Я желаю служить, батюшка, как служат все солдаты... мне не надо чинов, добытых по-приятельски...

– Молчать! – крикнул Василий Иванович. – Щенок, своего счастья не понимаешь! Туда же, я хочу... Я из тебя, наконец, дурь выбью...

Отец подскочил к сыну совсем близко. Сын не шелохнулся.

– Вот они где... Вот и сам будущий фельдмаршал! – раздался в дверях голос.

В комнату входил генерал Авраам Петрович Ганнибал. Мальчик бросился на шею старику.

– Здравствуй, брат, – встретил приятеля не пришедший еще в себя от волнения Василий Иванович. – Вот вырастил дурака-то... А все мать... Царство ей небесное! Не тем будь помянута...

– В чем дело? – спросил Авраам Петрович, усаживаясь на табуретку.

– Да как же, счастья своего не понимает... упрям как черт, прости Господи...

– В чем счастье-то? Приехал ведь в полк... – не понимал старик.

– То-то же, что в полк... Строевым, значит, надо служить...

– Всеконечно.

– А теперь вот представляется случай пустить его по письменной части в канцелярию того же полка... И легче, и чины быстрее пойдут...

Василий Иванович наклонился к генералу Ганнибалу и что-то стал ему говорить шепотом с серьезно-озабоченным видом. Генерал выслушал.

– А Саша отказывается?

– Вообрази, да...

– И дельно паренек делает.

– И ты туда же?

– Я всегда, брат, туда, где правда... Еще наш незабвенный благодетель Петр Великий говаривал: «По кривой дороге вперед не видать». Саше же твоему вперед хочется... Служба службой, а дружество дружеством, этих двух вещей смешивать не следует...

– Да ведь он, Кощей эдакий, в строю двух недель не выживет!..

– Авось выживет... Коли он Кашей, значит, бессмертный, – пошутил Ганнибал. – Так ли, Саша?

– Я вынесу, все вынесу... – простонал мальчик.

– И не стыдно тебе, Василий Иванович, скажу я тебе уж напрямик, по-приятельски, мальчика мучить. Решил уж раз предоставить ему свободу в выборе службы, дал слово и шабаш. Знаешь, чай, пословицу: «Не давши слова крепись, а давши, держись».

– Да ведь я, любя его, жалеючи... – уже более мягким тоном сказал старик Суворов.

– Жалость жалости рознь, а иную хоть брось. Ты поразмысли-ка, к чему он науку военную изучал, карты читал, ишь какую уйму книг прочитал? Для того ли, чтобы в писарях несколько лет пробыл, в офицеры не по заслугам выскочить... и в отставку...

– Зачем в отставку?

– Да какой же он офицер будет из писарей... К солдатам он и приступить не сумеет... В фронтовой службе аза в глаза знать не будет... Значит, и остается ему только в деревню ехать, бабы холсты считать...

Авраам Петрович остановился. Василий Иванович молчал, Саша все еще продолжал стоять в прежней позе, порой лишь вскидывая благодарный взгляд на генерала Ганнибала.

– Так-то, дружище, оставь его, пусть идет своею дорогой.

– А ну его, – махнул рукой Василий Иванович, – слова не скажу, пусть потянет солдатскую лямку, только, чур, не жаловаться, приезжать вызволять, шалишь, не поеду... Слышь...

– Слышу, папенька, и не надо... Не пожалуюсь... Только бы поскорей в строй, – радостно подбежал Саша и поцеловал руку отца.

– Завтра.

– Завтра, завтра! – захопал мальчик в ладоши и бросился на шею генералу Ганнибалу.

– Ишь ласкается к баловнику-то, – проворчал Василий Иванович.

В тоне его голоса послышались нервные ноты.

– Поцелуй отца, – шепнул мальчику генерал.

Саша быстро исполнил этот совет и от души поцеловал Василия Ивановича.

– Тяни, тяни лямку, коли охота, – уже ласково, шутливым тоном заговорил он, – не хотел отцовских забот и не надо...

Приятели заговорили между собой. Василий Иванович передавал Аврааму Петровичу впечатление, произведенное на него Петербургом, в котором он не был уже много лет, рассказывал о сделанных визитах, случайных встречах.

– Буду представленным ее величеству, – сообщил он в заключение.

– А-а-а! – протянул Авраам Петрович. – Я рад за тебя.

– А уж я как рад... Трепет какой-то священный в душе чувствую при одной мысли, что снова улицезрю великолепную дочь Петрову на престоле, в лучах царственной славы.

– Да, брат, дождалась Россия после многолетних невзгод красного солнышка... В лучах славы великого отца воссела на дедовский престол его мудрая дочь... Служи, Саша, служи нашей великой монархине, служи России! – с энтузиазмом воскликнул генерал, обращаясь к мальчику, снова вернувшемуся к уборке своих книг.

– Клянусь посвятить всю свою жизнь славе всемилостивейшей монархине и России! – с серьезной вдумчивостью сказал Александр Суворов.

– Аминь! – произнес генерал.

В это самое время в отворенной двери показалась Марья Петровна.

– Накрывать обедать в большой горнице прикажете или здесь, ваше превосходительство?

– Накрывайте здесь, будем обедать на новоселье у сына, – сказал Василий Иванович. – Ты закусишь с нами? Провизия деревенская, – обратился он к Аврааму Петровичу.

– Да уж бывшее дело, я пообедал...

– Не побрезгуй... Может, попадья-то и хорошо сготовила.

– Хорошо, съем чего-нибудь кусочек.

– Так на три прибора, хозяйюшка...

– Слушаю, ваше превосходительство, – отвечала Марья Петровна и тихо удалилась.

Через несколько минут она вернулась вместе с работницей. У обеих в руках была посуда, ножи, вилки и ложки. Марья Петровна накрыла стол чистой скатертью светло-серого цвета с красными каймами.

Саша тем временем окончил уборку книг. Опустевший сундук, или так называемую укладку, которые делались ниже сундука, мальчик закрыл, а затем, отодвинув лежавший на полу сенник, придвинул в угол и сенник положил на нее.

– Ишь солдат, что быстро сообразил и постель себе смастерил... Молодец! – заметил Авраам Петрович и потрепал подошедшего к нему Сашу по щеке.

Марья Петровна с работницей стали вносить одна за другой незатейливые, но вкусные яства того времени. Горшок щей, подернутых янтарным жиром, гусь с яблоками и оладьи с вареньем составляли меню этого обеда на солдатском новоселье.

Василий Иванович вынул из дорожной шкатулки затейливой заморской работы граненый графинчик богемского хрусталя и две серебряных чарки.

– Анисовой... – наполнил он одну из них и поднес генералу.

– Петровой... – протянул тот руку, но Василий Иванович быстро опрокинул ее себе в рот и, наполнив другую, поднес Аврааму Петровичу.

– У поляков научился, – засмеялся генерал.

– Угадал. Пан Язвицкий, сосед, с гостями всегда так проделывает.

– Это у них в обычае, чтобы показать, что напиток не отравлен.

– Вот как, а я не знал, думал, так балуется.

Старики выпили по второй и отдали честь как деревенской провизии, так и кулинарному искусству матушки-попадья.

– Уф! – отдувался после доброго десятка оладий Василий Иванович. – Об одном я покоен – Саша голоден не будет. Мастерница, мать-попадья, жаль муженька-то ее законопатили.

– А что? – полюбопытствовал генерал Ганнибал.

Василий Иванович рассказал.

– Печально, печально!

– У тебя нет ли среди духовенства влиятельных знакомств?

– Есть, как не быть.

– Похлопотать бы за него, может сократят срок и опять в приход определят.

– Похлопотать можно, отчего не похлопотать, – сказал Авраам Петрович.

Вскоре Василий Иванович стал заметно дремать и Авраам Петрович распрощался и ушел. Василий Иванович залег на боковую. Саша уселся с книгой у окна.

ХIII. Первые впечатления

Василий Иванович Суворов пробыл в Петербурге после описанного нами дня около двух недель. Он удостоился лицезреть обожаемую монархиню и был обласкан ее величеством, как все оставшиеся в живых «птенцы гнезда Петрова».

За последние дни Василий Иванович редко виделся со своим сыном, уже надевшим солдатский мундир и совершенно отдавшимся военной службе, предмету его давних мечтаний. Старик Суворов проводил время среди своих старых сослуживцев и знакомых. Им нередко сетовал он на упрямство сына, губящего добровольно себя и свое здоровье под гнетом солдатской ляжки.

– Умней нас стали молокососы, не хотят послушать советов стариков, ни услугу принять от них... До всего-де сами дойдем... – говаривал Василий Иванович.

Слушатели одобрительно кивали головой.

– Вот у меня сынишка единственный... В чем только душа держится, худ, слаб... В солдаты хочу и баста... Вот теперь и солдат... Фельдмаршалом буду...

– Хе, хе, хе, хе... ишь куда метит! – иные добродушно, иные язвительно смеялись в ответ.

– А ты бы драл, дурь-то эту и мечтания вышиб... – советовали некоторые.

– Драл... Я бы и драл, кабы не мать покойница, царство ей небесное... Тиха была, тиха, а тронь сына – тигрица... А теперь поздно...

– Самому надоест... вновь-то оно любопытно, а потом вспомнет твои слова... слезное письмо придет, – слышались замечания.

– Вспомнет, может, и вспомнет, только не выскажется и письма не придет... Кремень парень...

– А может, и впрямь фельдмаршалом будет?

– Хе, хе, хе, хе!

Отведя подобного рода разговорами душу, Василий Иванович возвращался домой, где заставлял сына или за книгою, или спящего, так как солдатская служба того времени требовала пробуждения до зари.

Наконец Василий Иванович уехал.

– Ты пиши, – сказал он, благословляя и целуя сына.

Глаза старика, хотя и сердитого на своего ребенка, наполнились слезами.

– Слушаюсь, папенька.

– То-то, слушаюсь. Если неумогу будет... тяжело... напиши.

– Чего неумогу, папенька, служба легкая...

– То-то, легкая». А ты все-таки пиши...

– Буду, папенька.

Сын действительно исполнил волю отца и писал ему. Вот образчик таких писем:

«Любезный батюшка! Я здоров, служу и учусь!

Александр Суворов».

На более пространную переписку у него не было действительно времени, и это с его стороны не было чудачеством.

Служба и продолжаемые им усиленные занятия науками отнимали все его время, едва оставляя несколько часов на необходимое отдохновение. Молодой солдат Александр Суворов служил с необычайным усердием, вникая в дело, и стараясь как можно скорее изучить его. Начальство ставило его в пример другим молодым дворянам, которые, служа в большинстве по принуждению, всячески старались уклоняться от исполнения своих обязанностей и зачастую нанимали за себя других солдат или унтер-офицеров. Василий Иванович знал эту воз-

возможность облегчить себе «солдатскую ляжку», а потому, несмотря на свою скупость, высылал сыну сравнительно много денег, в надежде, что тот прибегнет к этому способу облегчения военной службы.

Но Александр Суворов иначе употреблял присылаемые ему отцом деньги.

Не участвовал он ни в кутежах, обычных тогда между солдатами-дворянами, не тратился на лакомства, так как был более чем умерен в пище: простые солдатские щи и каша были его любимейшими блюдами. Но он, например, прибавил к договоренной отцом с Марией Петровной месячной плате за квартиру целый рубль, видя ее бедственное положение. Та была на седьмом небе.

Продолжал Александр Суворов жить на вольной квартире не потому, чтобы ему было неприятно жить в казармах. Далеко нет, общество солдат было для него приятнее всякого другого.

Не оставляя своего «вздорного», как говорил Василий Иванович, намерения достигнуть до фельдмаршальского или же, по крайней мере, генеральского чина, он сблизился с солдатами, изучая их характер и нужды.

Жил же он на вольной квартире для того, чтобы успешней заниматься науками. Он посещал классы Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в часы преподавания военных наук и нанял себе учителя. Для занятий нужны были книги, а книги были дороги. Вот на что большей частью шли присылаемые Василием Ивановичем деньги. Кроме того, кошелек его был всегда открыт для нужд бедных солдат, за что последние обожали своего молодого товарища.

– Чем только, батюшка, Александр Васильевич, мы можем отблагодарить вас? – часто спрашивали они молодого Суворова. – По службе за вас что справить не позволяете... И не придумаем.

И действительно, всей душой отдававшийся службе Александр Васильевич был исправный солдат. Он сам напрашивался на самые трудные обязанности и охотно ходил в караул за других. Чем хуже погода, чем сильнее стужа, тем охотнее стоял он на часах. Не позволял он ни за что солдатам, желавшим угодить ему, чистить свое оружие или амуницию. Ружье он называл своею женою.

– Если вы действительно хотите отблагодарить меня, – отвечал Суворов солдатам, – так ради моей забавы и науки поучитесь фронту и военным эволюциям под моей командой.

Солдаты соглашались с величайшей охотой, и надо было видеть, как распоряжался тогда Александр Васильевич. По серьезности и важности, с которыми командовал, он походил на настоящего полкового командира.

Так начал с первых же шагов свою службу Суворов. В глазах начальства он заслуженно стал пользоваться репутацией «исправного солдата». Дворянчики-солдаты, с которыми он не хотел водить дружбы, называли его «высочкой», искавшим только случая отличиться. В обществе, так как многие из знакомых и приятелей отца тщетно приглашали его к себе в дома, он прослыл «чудаком». Никто, однако, не угадал в нем гениального человека, с редкой твердостью и постоянством шедшего к своей цели и взбиравшегося на лестницу почестей не с беспечно-стью, а с терпением, изучая каждую ступень, от самой низшей до высшей.

– В фельдмаршалы метит... Хе, хе, хе! Чудак!.. – обыкновенно кончали разговор о нем.

Александр Васильевич, впрочем, прослужив даже несколько лет в военной службе, все остался прежним «дикарем» в обществе. Сослуживцы и приятели отца вращались к тому же в то время в придворных сферах, которых боялся молодой Суворов, и несмотря на то, что Василий Иванович указывал в письмах к сыну возможность «найти случай», при дворе поддерживая эти знакомства, последний не ловил этого «случая».

Он видел собственными глазами всю тщетность знатности и богатства, непрочность положения, приобретенного связями.

Александр Васильевич присутствовал, чуть ли не в первые дни своей службы в Петербурге, при ссылке графа Левенвольдта. Счастливцем этот состоял камергером высочайшего двора при Екатерине I, был первым вельможей своего времени, отличался щегольской одеждой, великолепными празднествами и вел большую картежную игру.

В государственные дела он не вмешивался, но при правительнице Анне Леопольдовне против воли принял участие в важнейших делах. Когда императрица Елизавета вступила на престол, в тот же день Левенвольдт был заключен в крепость и предан суду. Суд этот продолжался несколько лет. Его приговорили к смертной казни, а императрица смягчила наказание, заменив казнь ссылкой в Сибирь, с лишением чинов, орденов и дворянства.

Так рассказывали Александру Васильевичу, а стоя на часах в коридоре Петропавловской крепости, он видел, как один из заключенных, робкий, приниженный, с всклокоченными волосами, с седой бородой, бледным лицом, впалыми щеками, в оборванной грязной одежде, упал в ноги назначенному для сопровождения его в ссылку князю Шаховскому, обнимая его колени и умоляя о пощаде.

Этот заключенный был граф Левенвольдт. Воображению молодого Суворова снова представилось все слышанное им: долговременная служба графа Левенвольдта при дворе, отмененная к нему милость монаршая, великолепные палаты, где он, украшенный орденами, блистал одеждой и удивлял всех пышностью.

В Петербурге в то время говорили, что граф возвысился посредством женщин, едва верил в бытие Бога и был неразборчив в средствах к достижению цели. Все это производило впечатление на ум молодого Суворова. Вскоре ему пришлось присутствовать при еще более печальном зрелище.

Одновременно с делом Левенвольдта шло дело о заговоре бывшего австрийского посла при русском дворе маркиза Ботта д'Адорна и Лопухиных против императрицы Елизаветы Петровны в пользу младенца Иоанна. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.

Наталья Федоровна Лопухина, дочь генерала Балк-Полева была красавица в полном смысле этого слова. Своей красотой она затмевала всех петербургских женщин, с кем говорила она, на кого посмотрела, тот считал себя уже счастливейшим из смертных. И такая женщина была отдана в руки грубого палача.

Твердой поступью взошла она на роковой помост. Простая одежда придавала еще больший блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал с нее небольшую епанчу, покрывавшую грудь. Стыд и отчаяние овладели молодой женщиной. Смертельная бледность покрыла ее прелестное лицо. Слезы хлынули градом из прекрасных глаз. Ее обнажили до пояса, ввиду любопытного, но молчаливого народа.

Казнь происходила на Васильевском острове, у здания Двенадцати коллегий, где теперь университет. Один из палачей нагнулся, между тем другой схватил ее руками, приподнял на спину своего товарища, наклонив ее голову, чтобы не задеть кнутом. Свист кнута и дикие крики наказуемой разносились среди тишины, наполненной войском и народом, но казавшейся совершенно пустой площади. Никто, казалось, жестом не хотел нарушать отправления этого жестокого правосудия. После кнута Наталье Федоровне вырезали язык.

Палач, вырвав часть языка, двумя пальцами приподнял окровавленный кусок его над народом, громко крикнув:

– Купите, дешево продам!

Гробовое молчание толпы было достойным ответом на плоскую шутку.

Таковы были первые петербургские впечатления молодого Суворова. Понятно, что он еще более ушел в самого себя, в свои книги и в службу.

Эти впечатления не прошли бесследно для Александра Васильевича и в другом отношении. Он переживал время возмужания, время окончательного физического развития, он делался мужчиной, а это именно та пора, когда образ существа другого пола волнует кровь, мутит воображение. Образ истерзанной кнутом и ножом палача красавицы так запечатлелся в уме молодого Суворова, что красивые формы женского тела если и рисовались в его воображении, то всегда сопровождались воспоминаниями об этой холодящей мозг картине.

В эти годы зрелости женщины наиболее пагубно влияют на мужчин и часто в их жизни играют роковую роль. Подчас хотя и образованный, но не окрепший в кормиле житейского опыта ум поддается всегда если не ядовитому, то расслабляющему действию женской ласки и незаметно сворачивает с прямой дороги, получая вовсе не желательное для мужчин направление. Недаром в русском языке существует позорный для мужчин глагол «обабиться».

«Обабиться» могут только или незрелые юноши, или нетвердые умом мужчины. Женщины любят улавливать таких в свои хитрые сети, но не для того, чтоб сохранить их, а для того лишь, чтобы выжать из них сок и бросить, как лимон, или же помыкать ими, как тряпкой. Они, эти подчинившиеся женщинам мужчины, не получают даже наслаждения – достойным достойное. Женщины привязываются лишь к тем, кто выше их. Наслаждаться женщиной можно только подчиняя ее.

Случай спас молодого Суворова от подчинения женщине в молодые годы, хотя на богатого и староватого солдатика поглядывали некоторые из петербургских прелестниц, во главе с племянницей Марьи Петровны черноглазой Глашей.

XIV. Прелестница

Прошло четыре года.

В служебную жизнь Александра Васильевича Суворова они не внесли никаких перемен. Он продолжал жить на вольной квартире у Марьи Петровны Андреевой, с год как овдовевшей.

Хлопоты генерала-аншефа Авраама Петровича Ганнибала о сокращении срока ссылки для отца Иллариона не увенчались успехом. Генерал добился только одного, что приход сохранился за ним, а его вдове выдали небольшое денежное пособие.

Приписывая это «с неба», как она выражалась, свалившееся ей счастье своему жильцу, Марья Петровна еще более усилила свою к нему услужливость и угодливость. Она всячески старалась усладить его, также по ее мнению, «горькое солдатское житье», припасти для него лакомый кусочек, а главное – доставить покой при его занятиях. Для этого, обыкновенно, дети прогонялись на кухню и за малейший шум строго наказывались. Царствовавшая вследствие этого в доме тишина была особенно по вкусу усердно и серьезно занимавшемуся Александром Васильевичу. На некоторое время, впрочем, тишина эта была нарушена, но Марья Петровна не была в этом случае виновата.

Срок послушания отца Иллариона окончился, и он возвратился в свой приход. Возвратился, увы, не на радость семьи.

Он похудел и поседел так, что его не узнали не только дети, но даже жена. Озлобленный, угрюмый, он начал вдруг пить, и домик, где жил Суворов, этот приют тишины и покоя, вдруг сделался адом. Отец Илларион оказался буйным во хмелю, как и все пьяницы с горя. Вынесенное им позорное наказание, двухлетняя ссылка, все это изменило его прежний строгий, но справедливый характер и посеяло в его сердце семена страшной злобы на людей и судьбу.

Во хмелю эта злоба выбивалась наружу, и он срывал ее на беззащитных окружающих – детях и жене. Ругань отца Иллариона, плачь Марьи Петровны, крики и рев детей почти с утра до вечера оглашали дом.

Александр Васильевич хотел было бежать, но жалость к матушке-попадье, которая считала его за родного, а главное – за источник их сравнительного благосостояния остановила его. Он пересилил себя и привык к царившему в доме содому, выучившись читать зажав уши.

«Угомонится же он когда-нибудь!» – думал он.

Отец Илларион угомонился ранее года. С ним сделалась так называемая «пьяная горячка». В припадке ее он влез на трубу дома и, вероятно вообразя себя птицей или другим крылатым существом, подняв руки вверх, бросился вниз. Поднятый, весь разбитый, с вывихнутою ногою, он был отправлен в больницу. Все это произошло в отсутствие Александра Васильевича.

Недоглядела за больным и Марья Петровна, занятая на кухне. Странный полет отца Иллариона с дымовой трубы видели лишь прохожие, толпой собравшиеся около дома. От них-то и узнала Марья Петровна о дикой выходке своего мужа.

В больнице отец Илларион пробыл около месяца и отдал Богу душу. В квартире с отправления хозяина в больницу наступила прежняя тишина. Смерть мужа, несмотря на причиненное им за последний год ей горе, брань и даже побои, неприятно огорчила Марью Петровну.

– На кого ты нас, родненький, покинул... Как останусь я одна с малыми ребятами... – причитала она над гробом отца Иллариона.

Его похоронили. Марья Петровна не переставала плакать и жаловаться всем, кто бы с ней ни заговорил, на свою сиротскую долю. Александр Васильевич, тронутый ее бедственным положением, прибавил ей к месячной квартирной плате еще один рубль.

– Благодетель, вечно за тебя Бога молить буду... – бросилась она целовать его руки.

Из духовной консистории ей выдали пособие на погребение мужа. Пособие, по обыкновению, получилось через полгода после похорон отца Иллариона, но все же было некоторым подспорьем в ее сиротской доле. Жизнь в домике покойного священника вошла в свою обычную тихую колею.

Вдруг в один прекрасный день Марья Петровна получила письмо от своей племянницы Глаши. Эта Глаша была девушка лет девятнадцати, круглая сирота, дочь покойной сестры Марьи Петровны. Года четыре тому назад Марья Петровна, к которой девочку привезли из деревни, пристроила ее в услужение к одной старой барыне, жившей в их приходе. Более года Глаша жила у барыни, затем вдруг сбежала, и Марья Петровна потеряла ее из виду.

«Сгинула девка... Недаром я ее видела на днях в переулке с Агафьей...» – решила Марья Петровна.

Агафья была старуха, пользовавшаяся в околотке дурною славой. Такие женщины, как она, были известны в Петербурге еще со времен Петра Великого и назывались «потворенные бабы» или «что молодые жены с чужими мужи сваживаются». Эти соблазнительницы вели свое занятие с правильностью ремесла и очень искусно внедрялись в дома, прикидываясь торговками, богомолками... В то время разврат юридически помещался в одном разряде с воровством и разбойничеством. Но тогдашнее общество, как и теперь, не вменяло его в особенно тяжкое преступление.

Потужила Марья Петровна, потужила, да и забыла о своей племяннице.

«Может, впрямь и на этой дороге свою счастливую планиду найдет...» – успокоилась она за ее судьбу.

«Счастливой планиды», оказалось, Глаша не нашла.

Письмо было ею написано с прядильного двора в Калинкиной деревне, куда уличенных «прелестниц» отсылали в работы на сроки. Глаша писала к тетке, что срок, на который она была выслана, кончился, и просила взять ее к себе, обещая клятвенно исправиться, помогать ей по хозяйству и пойти на место. Письмо писано было, видимо, каким-то грамотеем, четким мужицким почерком.

Александр Васильевич Суворов, по просьбе Марьи Петровны, прочел его. Та всплеснула руками:

– Ахти, Господи, куда ее, шлюху, унесло! Да сгинь она, проклятая, на что мне она, не умела жить по-честному, так и пропадай пропадом!..

– Зачем так говорить, Марья Петровна, – остановил ее Александр Васильевич. – Если девушка заблудилась и хочет исправиться, так ей помочь надо, а не отталкивать ее. Это грех, большой грех. Сами, чай, знаете, что Иисус Христос сказал, что он пришел пасти не праведных, а грешных. Помните, как он милостиво отнесся к блуднице. Иди в дом свой и не греши, – сказал он ей.

– Уж вы начетчик у нас, добрая душа, – заявила Марья Петровна. – Да куда же я с ней денусь? При моем сиротстве... Все ведь лишний рот.

– Господь Бог вас вознаградит за доброе дело... Она себе работу найдет... На место поступит... Я... что могу... помогу... – смущенно произнес Суворов последнюю фразу.

– Благодетель!.. – могла только воскликнуть Марья Петровна.

– Так поезжайте за ней и привезите... Помните, Христос велел нам прощать.

– Что поделаешь, поеду, поеду...

Через несколько дней Марья Петровна собралась и поехала за племянницей. К вечеру они вернулись вместе.

– Только и поехала за тобой, за негодной, вот для них, нашего благодетеля, кланяйся и благодари, непутевая... – привела она на показ привезенную к Александру Васильевичу, спросив, по обыкновению, осторожно через дверь позволения войти.

– Очень вам благодарна... – потупив глаза, произнесла Глафира Ефимовна – так звали по отцу проштрафившуюся прелестницу.

Затем она лишь на мгновение подняла глаза на Александра Васильевича и окинула его таким взглядом, что тому жутко стало.

Глаша была, что называется, король-девка, высокая, статная, красивая, с лицом несколько бледным и истомленным и с большими темно-синими глазами. Русая коса толстым жгутом падала на спину. В своем убогом наряде она казалась франтовато одетой, во всех движениях ее была природная кошачья грация и нега.

– Что я... Я ничего... – смущенно проговорил Суворов. – Пусть живет себе... Пусть... с Богом.

Тетка и племянница вышли. Александр Васильевич обратился снова к своим книгам, но, увы, ему что-то не читалось. Ласкающий взгляд темно-синих глаз то и дело мелькал перед ним. Он вскочил, надел шинель и ушел в казармы.

Тетка с племянницей тем временем сели закусывать. Подкрепившись, последняя начала рассказывать Марье Петровне свои похождения после бегства от старой барыни, у которой жила в услужении. Марья Петровна, несмотря на строгость правил, была, как все женщины, любопытна и, кроме того, как все женщины, не греша сама, любила послушать чужие грехи. Она с жадностью глотала рассказ Глаши.

– Сбежав от старой барыни, я, по наущению Агафьи, – рассказывала та, – пришла к ней. «Ты пришла очень кстати, – сказала старая карга, – только перед тобой вышел от меня богатый господин, который живет без жены и ищет молодую девушку, чтобы она для благ, пристойности служила у него под видом разливательницы чая. Нам надобно сделать так, чтобы ты завтра под вечер пошла к этому господину... У меня есть прекрасная кашемировая шинелька, точно на тебя шита... Я ее надену на тебя и дам шляпу, а кудри свои ты уж сама распустишь и прифрантишься как надо».

Глаша приостановилась.

– Ишь, подлая, умеет вести дело... Что же дальше?

– Дальше все сделалось как по писаному... Я понравилась господину, и мы условились, чтобы я в следующее утро пришла к нему с какой-нибудь будто матерью, под видом бедной девушки, которая бы и отдала меня к нему в услужение за самую ничтожную цену. Вы знаете, тетенька, плаксу Феклу?

– Это та, что у нас стоит за службой на паперти?

– Она самая.

– Ну, и что же?

– Я наняла ее за рубль в матери, и она жалкими рассказами о моей бедности прослезила всех слуг. При первом изготовленном самоваре господин за искусство определил мне в месяц по пятьдесят рублей.

– Ишь денег уйму какую! – удивилась Марья Петровна.

– Две недели, – продолжала Глаша, – все шло хорошо, но в одну ночь жена моего господина возвратилась из деревни и захотела нечаянно обрадовать его, подкралась на цыпочках и вошла в спальню.

– Ахти... вот штука! – воскликнула попадья.

– Кончилось тем, что меня выгнали. Долго бы прошаталась я, если бы опять Агафья не пристроила меня к месту. Старый и страдающий бессонницей больной аптекарь искал смазливую и честного поведения девушку, которая большую часть ночи не спала и переменила бы свечи. За самую небольшую цену поступила я к нему исправлять трудную должность полуношницы. Вскоре аптекарь сделался мне противен, и мне казалось, что не только он сам, но и деньги его пахли лекарством. У аптекаря я познакомилась с молодым продавцом аптекарских товаров, у которого жена была и дурна, и стара. Мы условились, чтобы я отпросилась у апте-

каря, будто я должна ехать в Москву, а пришла и нанялась к нему в няни. Я успешно обманула аптекаря и еще удачнее жену моего нового любовника. Я делала башмаки на тонких подошвах, вымыла волосы квасом, выучилась говорить поточнее прежнего и ежеминутно потуплять глаза в землю... Фекла-плакса опять была моею матерью и до слез разжалобила жену моего любовника. Молодой купец заметно сделался нежнее прежнего к детям и ежеминутно стал приходить к ним и даже ночью уходил от жены, чтобы посмотреть на них... Вскоре эти родительские осмотры подсмотрела сама жена, и я... лишилась и этого места...

– Ну, дела... – разводила руками Марья Петровна.

– Я опять бросилась к Агафье, но места подходящего долго не выходило, и я пошла искать приключений на улице, где меня и сцапала полиция и отправила на прядильный двор.

Так закончила свой рассказ Глаша.

XV. Петергоф

Появление Глаши в доме Марьи Петровны совпало с концом апреля, а в начале мая полки, стоявшие в Петербурге, выступили в лагерь. Семеновский полк, где служил Александр Васильевич, расположился лагерем близ Петергофа, летней резиденции императрицы Елизаветы.

Великая дочь любила это создание великого отца.

Петергоф, или, как тогда называли, Петров двор, был основан Петром Великим в 1711 году, но еще в XII веке все побережье Финского залива, где теперь лежит Ораниенбаум, Петергоф и Стрельня, было заселено новгородцами Вотской пятины. Последняя, по распределению новгородских владений, входила в состав Дудергофского погоста.

Уже в 1237 году новгородцы вблизи этой местности создали город Копорье (теперь село). По преданию, великий князь Александр Невский из Копорья выходил к шведам в Емь в соупутствии митрополита Кирилла.

Вся местность, где теперь лежит Петергоф, при владычестве новгородцев принадлежала известному посаднику Захарию Овинову. Позднее, с упадком Великого Новгорода, в 1478 году, весь этот край был завоеван московским царем и присоединен к Орешковскому уезду. В эти годы весь теперешний уезд Петергофский отошел во владение к московскому воеводе Афоне Бестужеву.

Как уверяет предание, Петергоф обязан своим основанием супруге Петра, Екатерине I. Император, озабоченный частым посещением кронштадтских укреплений, предназначенных оберегать новую столицу от вторжения неприятеля, принужден был часто посещать созидаемую им крепость. Государь постоянно ездил туда морем.

Так как такие поездки, особенно осенью, в бурную погоду, представляли немало опасности, то государыня и склонила царя невядалеке от Кронштадта построить дворец или заезжий дом, от места, где бы переезд морем был невядалек и удобен.

Послушавшись совета супруги, Петр в 1709 году устроил себе небольшую гавань для пристанища судов и невядалеке от нее, где теперь Купеческая гавань, построил две светлицы или заезжий дом. По преданию, по другую сторону светлиц была поставлена царем деревянная церковь Благовещения. Теперь на месте светлиц находятся казармы конно-гренадерского полка, и место, где находилась церковь, обозначено каменной тумбой с крестом на верхней плите.

По другим преданиям, где теперь расположен Петергоф, стояли две чухонские деревушки: Похиоки и Кусоя; Петр избрал между этими деревушками возвышенную местность и построил палатку или небольшой «попутный дворец». Царь его выстроил в голландском вкусе и назвал «Монплеэиром»; близ него помещалась столовая, буфет, кавалерские комнаты, баня и ванная царя. В одном из примыкающих к нему флигелей он велел поставить походную церковь.

В 1711 году Петр приказал архитектору Леблонду строить загородный дворец по плану существовавшего в Версале. Вся местность, очень возвышенная над морем, сходящая к нему уступами, представляла много удобств к устройству фонтанов, и Петр, по совету Миниха, провел сюда большой водопровод, который предназначался для Стрельни.

Так как дворец государь строил для себя, то и назвал его «Петергофом», от этого дворца получил название и нынешний город.

При Петре Великом Монплеэир был небольшой хорошенький домик, внутри которого было развешено множество отборных голландских картин.

Главный корпус большого дворца состоял из двух этажей, в нижнем помещалась прислуга, а в верхнем – царская фамилия. Внизу большие прекрасные сени с изящными колон-

нами, а сверху великолепная зала. Остальные комнаты вообще были малы, но очень уютны, увешаны хорошими картинами и уставлены прекрасной мебелью.

Из картин выдавалась писанная Караваком в 1718 году. На ней изображен царь, сделанный очень похоже, со своими приближенными. Среди последних можно узнать Меншикова и многих других.

Особенно замечателен был кабинет, где находилась библиотека царя, отделан французским скульптором Николаем Пино, выписанным по рекомендации архитектора Леблонда и отличался своими превосходными резными украшениями⁶.

Из числа многих картин во дворце помещена одна очень большая, изображающая сражение, в котором русские разбивают и обращают в бегство шведов.

За дворцом красиво распланированный сад, а за ним обширный зверинец.

С лицевой стороны дворца в нижний сад спускается тремя уступами великолепный каскад, который так же широк, как и весь дворец, выложен диким камнем и украшен свинцовыми и позолоченными рельефными фигурами на зеленом поле. Нижний сад, через который прямо против главного корпуса и каскада проходит широкий и весь выложенный камнем канал, поражал прелестными цветниками. Этим каналом можно было подходить на судах до самого каскада.

Нижний сад был центром многих красивых аллей, проведенных через окружающую его рощу. Две самые большие из них, с обеих сторон сада, ведут через рощу к двум увеселительным дворцам, находящимся у самой Невы, в одинаковом расстоянии от Петергофа.

Таков был, по свидетельству Берхольца, Петергоф при Петре Великом.

Берхольц очень мало говорит о главном украшении Петергофа – фонтанах. Это объясняется тем, что многие проектированные царем фонтаны, постройки и разные украшения в Петергофе были исполнены уже после его смерти, так, например, краса Петергофа – фонтан Самсон был поставлен в 1725 году императрицей Екатериной I в память победы Петра над шведами.

Существует предание, что полтавскую победу императрица хотела увековечить в форме символических фигур: Самсон представляет Россию, лев – государственный герб шведского королевства.

Первоначально группа этого фонтана была отлита из свинца и только в царствование Павла I заменена бронзовой. Струя воды, выбрасываемая из львиной пасти, поднималась на высоту десяти сажен. Теперь фонтан бьет ниже – императрица Елизавета Петровна приказала его понизить: брызги, подымаемые фонтаном при морском ветре, покрывали весь дворец, это государыне не нравилось. Елизавета также приказала к фонтанам приделать железные круги.

При Петре Великом в Петергофе существовал «забавный дворец». В большом гроте последнего висело несколько стеклянных колоколов, подобранных по тонам, или, как говорили тогда, «колокольня, которая ходит водою»; в колокола шли пробочные молоточки, которые приводились в движение посредством механизма, на который падала вода. Звуки, издаваемые колоколами, были очень приятны, аккорды неслись тихие, на разные мотивы. Эта колокольня называлась «ноты» и существовала еще во времена Анны Иоанновны.

Из петровских построек до сих пор уцелели во всей их неприкосновенности домик «Марли», или «Mon bijou», как называли его в то время. Домик этот построен по плану существующего в окрестностях Берлина. В Марли теперь хранятся вещи, принадлежавшие Петру, здесь его халат, подаренный персидским шахом, кровать с занавесками и одеялом, стол его работы с грифельной доской, бюро, небольшой ящик, где сохраняются собранные им часы, кружки с девятью вкладным стаканами, присланные царю китайским богдыханом.

⁶ Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга.

Перед домиком большой четырехугольный пруд с язями, голавлями, сазанами и судаками, выписанными царем из Пруссии. Рыбы здесь приходят на корм по зову в колокольчик.

Близ Марли два развесистых громадных дуба, посаженные царем. Под тенью их он любовался плесканьем заморских рыб. Вправо от Марли существует каскад «Золотая гора». Фонтан этот устроен царицей Анной.

Сама же постройка Марли возобновлена императрицей Елизаветой Петровной. При ней же была сделана в Монплеизир проходная каменная галерея, а в описываемое время окончена графом Растрелли постройка каменной кухни, где императрица сама занималась приготовлением кушаний для своего стола, изобретая часто совершенно новые.

В правом деревянном флигеле при Петре была русская баня. Императрица Елизавета в 1743 году сделала здесь комнату с душами для обливания.

В саду Монплезира многие дубы и кедры посажены императором Петром Великим.

Вблизи Монплезира группируется много каскадов и фонтанов: так, при выходе из него виднеется «Шахматная гора». Она носит также название «Малого грота» и «Драконовой горы». Перед ней два «Римских фонтана». «Шахматная гора» устроена в 1739 году императрицей Анной Иоанновной и при ней носила название «Руинного каскада»; ею же и в том же году устроены и «Римские фонтаны». Последние построены из цветных мраморов, по рисунку существующих в Риме на площади святого Петра.

Невдалеке от этих величественных каскадов и фонтанов находятся через аллею фонтаны «Дубок», «Елка» и «Грибок». Вблизи «Дубка» стоит скамейка с потайными фонтанами, называемая «Шутихой». Как только посетитель на нее садится, его моментально со всех сторон обдает мелкий дождь.

Из фонтанов, построенных при Петре I, замечателен «Пирамидный» – вода в нем бьет из 525 трубок, фонтан «Нептун» – в то время фигура была отлита из свинца сидящую в раковине и лишь при императоре Павле заменена бронзовой, стоящей на пьедестале; «Дубовый», или «Средний Клош», и два квадратных пруда с дельфинами. В главной аллее сада два – «Евин» и «Адамов» – оба из белого каррарского мрамора и оба выписаны царем из Италии.

Императрица Анна Иоанновна не переставала в свое царствование украшать и отстраивать Петергоф. При ней, как мы уже сказали, было устроено множество фонтанов. Кроме того, императрица возобновила многие здания, построенные при Петре Великом.

В числе последних она, по именному указу 28 июня 1737 года, повелела: «Для шлифования и полирования при академии наук всяких найденных в здешнем государстве ясписовых и прочих камней, построить мельницу, на месте сгоревшей в Петергофе». Постройка была произведена по плану известного архитектора Петра I – Блуметраста и по чертежам Брунера. На фабрике занимались гранением твердых камней и благородных драгоценных. Мастером был выписан из Базеля – Брюкнер. Есть данные предполагать, что в первое время в Петергофе гранили даже алмазы, что впоследствии уже не делали. В царствование Елизаветы Петровны на фабрике стали делать накладную флорентинскую мозаику.

Век пышных празднеств и торжеств наступил для Петергофа с воцарением этой монархини. Для великолепного и многочисленного двора Елизаветы скромные домики Старого Петергофа казались ничтожными.

В первые же годы ее царствования по бокам прежнего петровского жилища поднялись длинные флигеля и сверх второго этажа главного дворца возник третий этаж. Эта постройка производилась в описываемое нами время. Императрица Елизавета жила в Монплеизире. По задуманному ею плану и по совещанию с известным архитектором того времени графом Растрелли, постройка дома должна была заключаться в следующем. К большому дворцу пристраивались два боковых каменных флигеля, а сам дворец увеличивался на один этаж. Длина дворца, таким образом, должна быть сто тридцать четыре сажени, а ширина восемь. По обе стороны двора строились галереи, правая – к церковному строению, а левая – к отдельному дворцовому

строению, которое предполагалось назвать «корпус под гербом». Это строение должно было быть трехэтажное и иметь крышу в виде четырехстороннего купола из белого железа с золотыми украшениями. На вершине купола предполагалось поставить трехсторонний императорский двуглавый орел. Весь этот план и был, как мы видим теперь, выполнен. Императрица Елизавета Петровна любила Петергоф и постоянно жила в нем. Она находила, что его влажный, наполненный водяными испарениями воздух полезен для здоровья. Простая и доступная вообще, императрица в Петергофе жила жизнью совершенно простой помещицы. Она отдыхала в нем от придворного этикета, которого терпеть не могла.

Несмотря на упорное нежелание молодого Суворова приблизиться к придворным сферам, ему пришлось вскоре стать лицом к лицу не только с ними, но и лично с самой государыней. Это было неизбежно при несении караульной службы в Петергофе. Обстоятельство это, вопреки какому-то паническому страху молодого солдата, имело далеко не неблагоприятное влияние на дальнейшую служебную карьеру. Он сделался лично известен государыне, и его ревностная служба не могла быть умышленно, как это случалось и тогда, незамеченной его ближайшим начальством.

Но прежде нежели рассказать читателю об этом чрезвычайно важном моменте в жизни нашего героя, мы не можем не охарактеризовать подробно высокую личность царствовавшей тогда императрицы Елизаветы Петровны.

Она была, несомненно, тем идеалом «матушки-царицы», какой представляет себе русский народ. До своего вступления на престол она жила среди этого народа, радовалась его радостями и печалилась его горестями. После мрачных лет владычества «немца», как прозвал народ время управления Анны Иоанновны, и краткого правления Анны Леопольдовны императрица Елизавета Петровна, как сказал генерал Ганнибал, в лучах славы великого Петра появилась на русском престоле, достигнув его по ступеням народной любви.

XVI. Императрица Елизавета

Императрица Елизавета Петровна была редкой красоты; портрет ее в галерее Гатчинского дворца, писанный с нее, когда она была еще цесаревной, свидетельствует, как привлекательна была она во время своей молодости. Она была сама грация и приводила всех знавших ее в восхищение. Веселый, беззаботный характер и сердечная доброта отражались на нежных чертах миловидного лица белокурой цесаревны.

Елизавета была сирота в полном смысле этого слова; ни отца, ни матери, ни доброго руководителя не было у этой доброй девушки, готовой на всякие пожертвования.

Будучи цесаревной, она долго жила в слободе Покровской, теперь вошедшей в состав города Москвы. Там она проводила время запросто со слободскими девушками, в летние вечера водила с ними на лугу хороводы, метала из окна дворца пригоршнями деньги и любовалась, как их поднимали нарасхват, пела песни и даже сочиняла их.

Предание приписывает Елизавете следующую народную песню:

В селе, селе Покровском
Серед улицы Большой
Расплясались, рассказали
Красны девки меж собой.

Цесаревна сама была прекрасная, голосистая певица; запевалой у ней была известная в то время в слободе певица Марфа Чеглиха⁷.

Затем цесаревна угощала певиц разными лакомствами и сладостями; пряниками-жмычками, цареградскими стручками, калеными орехами, маковой избойной и другими вкусными заедками.

Иногда цесаревна тут с ними на посиделках, когда они работали, занималась рукоделием, пряла шелк, ткала холст, зимой же об Святках собирались к ней ряженые слободские парни и девки, и тут разливался чисто русский простодушный разгул: начинались пляски, присядки, веселье и удалые песни, гаданья с подблюдным припевом. Под влиянием бархатного пивца, да сладкого медку, да праздничной бражки весело плясалось на этих праздниках; сама цесаревна до них была во всю жизнь большая охотница.

На Масленице собирала она у своего дворца слободских девушек и парней кататься в салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу цесаревниному – Царевниной, с которыми и каталась сама первая. Той же широкой Масленицей вдруг вихрем мчится по улицам ликующей слободы удалая тройка. Левая пристяжная кольцом, правая еле дух переводит, а коренная на всех рысях с пеной у рта. Это тешится любезная матушка-хозяйка слободы, цесаревна Елизавета, покрикивая удалому гвардейцу-вознице русскую охотничью присказку:

– Машу не кнутом, а голицей.

Любимую потехой цесаревны, по примеру древних московских царей и великих князей, была охота. Ей она посвящала большую часть своего времени в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты за зайцами. Статная красавица, она выезжала в мужском платье и на соколиную охоту.

Для этой забавы на окраине слободы находился охотный двор, где цесаревна тешилась искусством соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клубочках, с бубенчиками на шейках, мигом слетавших с кляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, сокольничьих, подсокольничьих и кречетников, живших на том дворе, где и содержались притравлен-

⁷ Стромиллов Н. Н. Цесаревна Елизавета Петровна в Александровской слободе.

ные сокола, нарядные сибирские кречеты и ученые сибирские ястребы, так что этот охотничий двор был скорее сокольничий.

Часто полевала около своего дворца цесаревна. Среди окружавшего ее мужского гульливого люда выделялись красавец Алексей Яковлевич Шубин, молодой прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, и весельчак Лесток, но не было никого из знатных людей. Такое сближение с простолюдинами обратило подозрительное внимание двора Анны Иоанновны.

Елизавету Петровну потребовали в Петербург, где она и поместилась в доме, называемом «Смольным», находившемся в конце Воскресенской улицы. Существует предание, что нередко, прячась за садовым тыном, в одежде простого немецкого ремесленника, сам Бирон следил за царевной.

По приезде в Петербург цесаревна тотчас приобрела большую популярность в среде гвардейских солдат, вступила с ними в такие сношения, в каких находилась прежде со слобожанами Покровской слободы: крестила у них детей, бывала на их свадьбах; солдат именованник приходил к ней, по старому обычаю, с именованным пирогом и получал от нее подарки и чарку анисовки, которую, как хозяйка, Елизавета и сама выпивала за здоровье именованника. Гвардейские солдаты полюбили добрую и доступную цесаревну и стали называть ее матушкой и говорили меж собой, что ей, дочери Петра Великого, не сиротой плакаться, а на престоле сидеть.

Эта мысль появилась в головах не одних благодарных солдат. При дворе принцессы вел направляющую к этой цели интригу ее домашний врач Лесток.

Граф Герман Лесток, по происхождению француз, приехал в Россию в 1713 году и определен домашним доктором Екатерины, а в 1718 году сослан Петром в Казань, как уверяет Штелин в своих анекдотах. Со вступлением на престол Екатерины I Лесток был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете. Он умел ей понравиться своим веселым характером и французской любезностью. Вскоре он ей представил план овладеть престолом.

В начале Елизавета не решалась отважиться на такой шаг, но позднее, спустя одиннадцать лет, во время младенчества императора Иоанна Антоновича, она согласилась на его план. По его совету царевна обратилась к содействию французского посланника маркиза де ла Шетарди, который и передал Лестоку до 130 000 дукатов для этого дела.

Все переговоры были ведены очень хитро: если и нужно было переписываться, то заговорщики клали записочки в табакерки и таким образом вели корреспонденцию. Но как ни были ловки заговорщики, тайна их была открыта.

Елизавета имела горячий разговор с регентшей и, возвратясь домой, объятая страхом, умоляла Лестока бросить все затеи⁸. Тот отвечал, что все готово, что победа обеспечена и отступление теперь было бы позорной трусостью, недостойной дочери великого Петра.

Тогда Елизавета решилась и в ночь на 25 ноября 1741 года взошла на престол своего отца.

Вступление на престол Елизаветы ознаменовалось многими милостями. Государыня возвратила из ссылки многих сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами, орденами и именьями близких себе людей. Многим полкам была дана денежная награда. Солдаты Преображенского полка получили 12 000 рублей. Семеновский и Измайловский полки по 9000 рублей. Конный – 6000 рублей. Ингерманский и Астраханский по 3000 рублей.

Гренадерская рота Преображенского полка получила название «лейб-компаний», капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик в этой роте равнялся полному генералу, поручик – генерал-лейтенантам, подпоручик – генерал-майорам, прапорщик – полковнику, сержант – подполковникам, капрал – капитанам, унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне; в гербы их внесена надпись «за ревность и верность», все они получили деревни и некоторые с очень значительным числом душ.

Над слугами павшего правительства начались следствие и суд.

⁸ Пыляев М. И. Старый Петербург.

В Петербурге императрица Елизавета Петровна жила в своем дворце на Царицыном лугу, но больше в другом у Зеленого моста (теперь Полицейский). Она имела обыкновение спать в разных местах, так что заранее нельзя было знать, где она ляжет. Это приписывали тому, что она превращала ночь в день и день в ночь.

В 11 часов вечера она отправлялась только в театр, и кто из придворных не являлся за нею туда, с того брали 50 рублей штрафа.

По рассказам современников, государыня кушала немало и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина. Она в особенности любила токайское вино.

В среду и пятницу у государыни вечером стол был после полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо, и чтобы избавиться постного масла, от которого ее тошнило, она дожидалась первого часа непостного дня, когда ужин был сервирован уже скромный.

У государыни был превосходный фарфоровый сервиз, все блюда которого были с крышками, сделаны в форме кабаньей головы, кочана капусты, окорока и тому подобное.

В числе особенных странностей государыни была та, что она терпеть не могла яблок, и мало того, что сама их не ела никогда, но до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел недавно, и сердилась на тех, от кого пахло ими. От яблок ей делалось дурно, и приближенные остерегались даже накануне того дня, когда им следовало являться ко двору, дотрагиваться до яблок.

Спать государыня ложилась в пять часов утра и часть дня посвящала сну. Засыпая, Елизавета любила слушать рассказы старух торговок, которых для нее нарочно брали с площадей. Под рассказы и сказки их кто-нибудь чесал Елизавете пятки, и она засыпала.

Когда императрица спала, то в это время по соседнему Полицейскому мосту запрещалось ездить экипажам, чтобы стук езды не будил императрицы; иногда не пускали и пешеходов.

Императрица была очень суеверна и боялась покойников: она не входила в тот дом, где лежал покойник.

Первую роль при дворе императрицы играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Наталья Михайловна Измайлова и еще какая-то Елизавета Ивановна, которую, по словам Порошина, граф А. С. Салтыков назвал: «*le vinisire des affaires etrangeres de ce temps la*»⁹.

От женщин не отставали и мужчины, которые и образовали партии, целью которых было ниспровергнуть друг друга. Вражда их очень забавляла императрицу Елизавету Петровну, и часто нарочно сочиненными сплетнями и пущенными в ход самую императрицею она подвигала противников чуть ли не на рукопашное побоище.

К замечательным постройкам елизаветинского времени должно отнести дома: графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице (теперь Пажеский корпус), Орлова и Разумовского (теперь воспитательный дом), Смольный монастырь и Аничковский дворец. Все эти постройки тогда производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из заграницы еще императором Петром I.

Одним из красивейших домов елизаветинского времени был дом знаменитого «представителя музыки», первого русского мецената Ивана Ивановича Шувалова; стоял он на углу Невского и Большой Садовой. Дом был построен в два этажа, по плану архитектора Кокрякова.

При императрице Елизавете кто хотел ей угодить, тот выезжал возможно пышнее. В царствование Анны Иоанновны в целом Петербурге не было ста карет, при Елизавете число их удесятилось.

⁹ Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга.

При Елизавете должностные лица обязывались подпискою бывать на театральных представлениях. Когда на французской комедии являлось мало зрителей, посылали к отсутствующим грозный запрос, подкрепляемый угрозой штрафа в 50 рублей.

Маскарады при ней давались два раза в неделю; один из маскарадов был для придворных и знатных особ, для военных не ниже полковника; иногда же на эти маскарады позволялось приезжать всем дворянам и даже почетному купечеству. Число находившихся на этих маскарадах не превышало 200 человек. На маскарадах же для всех число доходило до 800 человек.

Такова была императрица Елизавета Петровна, в царствование которой начал свою служебную карьеру наш герой, Александр Васильевич Суворов. Начало этой карьеры озарила лучами своей милости императрица.

XVII. Царский подарок

Был жаркий июльский день 1749 года.

Яркое солнце с безоблачного неба жадно охватывало землю своими жгучими лучами. В Петергофе невыносимая жара умерялась испарениями окружающей влаги.

Александр Васильевич Суворов стоял на часах в Монплезире. С того времени, как мы видели его в последний раз разбиравшим книги на петербургском новоселье, он вырос и возмужал. Ему шел двадцатый год. Хотя он был небольшого роста и невзрачной наружности, но военная выправка и мундир придавали ему молодцеватый вид, а пронизательный взгляд умных, почти красивых глаз оживлял лицо, делая его привлекательным. Самое это лицо потеряло ребяческое выражение, из наивно-вдумчивого оно сделалось сосредоточенно-здумчивым. Видно было, что мальчик сделался мужчиной, что вечно юная старая библейская история о Еве, вручающей яблоко, повторилась и с Александром Васильевичем. Свежий цвет лица говорил, что он не сильно поддавался этим искушениям, которые были на каждом шагу рассыпаны в Петербурге и его окрестностях для гвардейцев.

Александр Васильевич стоял с неподвижностью столпа. Его глаза были устремлены на открытое море. Чудный вид открывался из Монплезира, но молодой Суворов не был художником, картины природы не производили на него особенного впечатления – он относился к ним со спокойным безразличием делового человека.

Если его глаза и были устремлены на море, то только потому, что это море было перед ним. Мысли его были в Петербурге и, как это ни странно, вертелись около женщины.

Этой женщиной была загадочная Глаша. Уже более трех месяцев жила она у Марии Петровны, с месяц до вступления в лагерь жил с ней под одной кровлей Александр Васильевич. С памятного, вероятно, читателям взгляда, которым она окинула молодого Суворова и от которого его бросило в жар и холод и принудило убежать в казармы, их дальнейшие встречи в сених, встречи со стороны Глаши, видимо, умышленные, сопровождалась с ее стороны прозрачным заигрыванием с жильцом ее тетки.

Первое время Александр Васильевич сторонился от этих заигрываний, затем как-то свыкся с ними, и, наконец, они сделались для него необходимыми. Не встретившись с Глашей в течение дня, он ощущал какое-то странное беспокойство. Глаша ждала дальше.

Однажды она осторожно постучалась к нему в комнату.

– Можно пойти?

– Войдите.

– Я, Александр Васильевич, к вам, – отворила дверь и остановилась у порога Глаша.

– Ко мне? Что надобно?

– Книжечки какой ни на есть почитать... Смерть скучно...

– Книжечки... Какой же книжечки? У меня все военные.

– Военные, – повторила Глаша. – А в них про любовь есть?

– Нет, про любовь нет. Впрочем, есть где и про любовь.

Александр Васильевич достал с полки два томика в кожаных переплетах, как-то случайно попавшие к нему из деревенской библиотеки. Это были две разрозненные части какого-то переводного романа, заглавные листы которого даже были оторваны.

– Это интересно?

– Не знаю, не читал...

– Это про любовь-то... не читали, – удивилась Глаша.

– Это меня не интересует.

– Любовь?

– Любовь – это баловство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.